Олег Тихомиров


Стал я с вами за правду


Издательство «Детская литература»











Олег Тихомиров

Стал я с вами за правду



Москва
«Детская литература»
1989

ББК 84Р7
Т46

В книге рассказывается о восстании казачьей бедноты и крестьян на Дону в 1707—1708 гг. Через многие испытания проходит предводитель этого восстания Кондрат Булавин — мужественный и стойкий человек, павший от руки предателя. Автор показывает своего героя в разных жизненных обстоятельствах — в радостях и тревогах, в час одержанной победы и в момент поражения.

Художник М. Лисогорский

Тихомиров О. Н.

Т46 Стал я с вами за правду: Повесть/Художн. М. Лисогорский.— М.: Дет. лит., 1989.— 160 с.: ил.

ISBN 5—08—000884—9

Историческая повесть об антифеодальном восстании под руководством Кондратия Булавина в начале XVIII века.

Т $\frac{4803010201—471}{М101(03)-89}$ 301—89 **ББК 84Р7**

ISBN 5—08—000884—9

ОГЛАВЛЕНИЕ

Литературно-художественное издание

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тихомиров Олег Николаевич

СТАЛ Я С ВАМИ ЗА ПРАВДУ

Повесть

Ответственный редактор *С. М. Пономарева*
Художественный редактор *В. А. Тогобицкий*
Технический редактор *Н. Г. Мохова*
Корректоры *К. И. Каревская, Э. Н. Сизова*

ИБ № 10946

Сдано в набор 17.02.89. Подписано к печати 31.08.89. А07926. Формат 70×90[1]/16. Бум. офсетн. № 1. Шрифт академический. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,7. Усл. кр.-отт. 25,08. Уч.-изд. л. 9,17. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2601. Цена 70 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.





ПРОЛОГ

Памяти моей дочки Иринки Тихомировой посвящаю эту повесть.

СЛЕД ЗВЕЗДЫ

1

К ночи на станицу налетел ветер. Он был зол и напорист — с крыш сорвал кое-где солому, свалил плетень, сломал два тополя. Он пригнал огромную тучу, из которой, ярясь, прыгали огненные змеи, громыхал гром и хлестали тугие струи.

Дом, небольшой и чуть покосившийся, в котором теперь жили Микита с матерью, казалось, не выдержит набега грозы, вот-вот рухнет, развалится. Микита стоял у слюдяного оконца, вглядывался в темень, то и дело разрываемую ослепительными вспышками. Хоть и боязно было, да не мог он отойти, будто что-то держало его, заставляло смотреть на эту жуткую и чем-то притягательную битву тьмы и света.

Анна опустилась на колени в углу под иконой.

— Микитка! Иди сюда. Стал как вкопанный! — Она попыталась оторвать его от оконца.— Слышишь? Зашибет ненароком.— И зашептала молитву.

Сын ничего не ответил, с места не двинулся. Миките шел одиннадцатый год, а мать все хотела, чтобы он был все время с ней, точно стригунок подле лошади. Но казачья кровь уже сказывалась — Микиту тянуло к отцу. Он поил отцовского коня, с дрожью брал тяжелую саблю, смазывал ее острое лезвие свиным салом. Отец не раз давал ему в руки свой турецкий пистолет, показывал, как засыпают в ствол порох, закатывают круглую пулю, взводят курок. Он обещал научить Микиту стрелять и, конечно, сдержал бы слово, да пришлось расстаться.

Где же теперь отец? — часто задумывался Микита. По-прежнему ли атаманствует в Бахмуте или ушел из городка, отправился с казаками в какой поход? Видать, для отца настала трудная пора, коли не оставил семью при себе, вот и скитаются они по разным станицам. То там живут, то здесь. Не ведают, где будут завтра. Отец присылает каких-то людей, велит с ними переходить на новое место, а зачем, надолго ли — о том и речи нет.

Грозовая туча быстро уползла, и теперь далекие раскаты грома уже не пугали, а походили на усталое стариковское ворчанье. Над станицей высыпали звезды. Они сверкали ярко, чисто, казались вымытыми. Или же кто-то щедрой рукой разбросал по небу бесценные алмазы?

Микита с матерью вышли на крыльцо. Мальчик, задрав голову, долго смотрел, не отрываясь, потом произнес:

— Какие крупные! — И, помолчав, спросил: — Почему они светят, не знаешь?

Анна ответила не сразу.

— Старец один сказывал, звезды — души усопших. А еще слыхала, будто ангелы зажигают на небе лампады. Вот и светят.

— А падают отчего? — Микита проводил взглядом сорвавшуюся звезду. Ее след рассек черное небо и растаял.

— Кто знает,— пожала плечами мать.— Говорят, коли увидишь, как звезда падает, загадай желание — исполнится.

— Хочу увидеть отца. Поскорее,— прошептал Микита.

Таинственный след звезды так и стоял перед глазами. Он будоражил мальчика, обжигал.

— Поскорее...— повторил Микита.

2

В эту ночь приснился ему сон, будто живут они опять все вместе в Бахмуте и что отец привел на баз[1] необъезженного коня. Тонконогий вороной конь взбрыкивал, взвивался на дыбы и сбрасывал каждого, кто пытался на него сесть. Сброшенными оказались многие лихие наездники. Вот и отец — бахмутский атаман Кондрат Булавин — грянулся наземь. Поднявшись, сказал Миките: «Дерзай. Твой черед».

Какая-то сила вдруг подтолкнула Микиту, он так и взлетел на спину коня, припал к шелковой гриве. Конь сорвался с места, перемахнул через изгородь.

«Стой!» — крикнул отец.

Куда там! Засвистел в ушах ветер, задрожала земля под ногами вороного.

И мальчик почувствовал, как этот шальной топот, этот оглушающий стук бешеных копыт сотрясает его самого, Микиту...

Он проснулся. Над ним стояла мать, тормошила:

— Микитка, вставай... Микитка...

А это что?.. В дверь кто-то стучал. Негромко, но требовательно.

Микита быстро оделся. Анна подошла к двери. Сквозь стук услышала:

— Спят, окаянные.

— Стучи шибче.

— Шибче негоже. Станицу перебудишь.

Мальчик, стараясь ступать бесшумно, направился к матери, но впотьмах зацепил лавку, и стоящая на ней пустая квашня грохнулась на пол.

За дверью на миг притихли, потом застучали еще настойчивее. Мать не выдержала:

— Кто там?

— Анна, открой.

— Чего надобно?

— Открывай, слышь. От Кондратья Офонасьича мы.

Рука у Анны не поднималась отодвинуть щеколду. «Верно, — подумалось, — приезжают люди от Кондратия, да средь бела

---

[1] Баз — двор.

дня. А эти пошто ночью явились? Не пущу». Так и сказала:

— Утром приходьте. Зараз не открою.

— От дура баба! — заругались за дверью. — Пусти. Для твоего же блага посланы. Это я, есаул Ананьин, слышь?

Анна припомнила, что был в Бахмуте казак Ананьин, но куда-то подался, в Черкасск вроде бы. Теперь, вишь, с Кондратом заодно да еще есаул, шустрый. И все же что-то остановило Анну. Чуть подумав, молвила:

— Коли для блага, и приходьте, говорю, с утра. А то шляются ночью, как анчихристы.

— Стало быть, не откроешь?

Голоса умолкли. Но вот кто-то сказал:

— Гора, давай ты... С разбегу.

И вдруг в дверь глухо и тяжело чем-то бухнули, и она, не устояв перед этим сокрушительным ударом, сорвалась и накрыла собою мать и сына. Да еще шмякнулся рядом на пол здоровенный казак Ефим по прозвищу Гора. Он-то и вышиб дверь своей тушей величиной с воз.

3

Так была похищена в ту ночь семья Кондрата Булавина и под охраной направлена в Белгород в распоряжение тамошнего царева воеводы. Задумано все это было войсковым атаманом[1] Лукьяном Максимовым, который считал, что при помощи заложников сумеет обуздать взбунтовавшегося Кондрашку. Хочешь, мол, получить своих, явись с повинной. А там видно будет. Нашли бы на вора[2] управу.

Анну и ее сына везли со связанными руками в телеге, сверху прикрыли рогожей. Предупредили: чтоб все было втихую, без криков, да чтоб не вздумали бежать — не то прибьем, дескать, на месте. Но пленники даже мыслить не могли о побеге. Сорванная дверь чуть не зашибла их до смерти. У Микиты горела распухшая нога, у Анны стоял в голове нескончаемый

---

[1] Войсковой атаман стоял во главе всего Войска Донского.

[2] Воровством в то время называли неподчинение властям, ворами — бунтарей и мятежников.

гул, будто где-то далеко ударили в колокол, и звук его, расплывшись по округе, навечно повис в воздухе. Да что там говорить — слава богу, живы остались.

Рядом с телегой верхом на лошадях двигалась охрана — пять казаков. Старшой среди них, Сёмка Ананьин, все время чутко прислушивался — нет ли погони. Он был осторожен и труслив, но и жаден был не в меру, потому, учитывая все эти качества, и назначил его Максимов старшим, пообещав при успешном исходе задуманного большие деньги.

Еще полгода назад Ананьин был подослан Максимовым к Булавину. С тех пор они не виделись, но через своих людей войсковой атаман передавал Ананьину тайные поручения, и тот каждый раз выполнял их с усердием. На прошлой неделе Максимов вызвал лазутчика к себе и повелел похитить Анну Булавину вместе с сыном.

И вот теперь, чем дальше оставалась позади станица, Семка все чаще принимался размышлять, сколько ему достанется. Сто рублей на всех посулил войсковой за взятие заложников. Деньги-то вон какие! А как их поделишь? Нужно просить для себя половину — пятьдесят. Неспроста он старшим назначен. Остальным пусть придется по десять рублей. И то много. По пять в самый бы раз, да небось вой поднимут, за сабли схватятся... Пёсье племя! Ладно, там видно будет. А покамест главное — не нарваться на булавинцев. Днем идти по дороге не след. К утру надобно схорониться в какой-нибудь балке, переждать до темноты.

Ананьин снова приостановился, немного послушал, затем быстро догнал телегу. Он занял свое место позади огромной туши Ефима-Горы, вперил взгляд в широченную спину. Во мраке трудно было разглядеть ее очертания; казалось, прикрывала она всю степь. Да на что такому деньги? Пропьет сразу же. Выкати ему бочку вина, он и рад будет. Зачем деньги!..

Да еще стал прикидывать Семка, что напрасно отправились впятером. Надо было бы взять еще одного такого же битюга, как Ефим-Гора, и достаточно. В крайнем случае им по десять рублей, а все прочее — ему, Ананьину. Дело-то вон как легко обернулось.

Он напряг слух — нет, никто следом не кинулся. Тихость. Ничего не слыхать.

А у Анны все еще держался в голове звон. Правда, стал он более отдаленным, уже не мучил так, и она могла о чем-то думать и вспоминать.

Перво-наперво она спохватилась о сыне.

— Микитка, жив ли? — спросила она тревожно, хотя и чувствовала рядом его тепло.

— Жив. Нога болит дюже.

— Потерпи, голубь. Бог даст, приедем куда, я тебе...

— Умолкни! — Ананьин выдернул саблю, плашмя и несильно хлопнул по рогоже.

Мать прижала связанные руки к Миките. Лишь бы не заплакал. Да и самой сдержаться бы... Она пыталась понять: кто напал на них... зачем... куда везут? Был бы рядом Кондрат, не дал бы в обиду. Где ж ты, Кондратий, Кондратий?..

Она стала думать, что нет, не сейчас начался горький поворот в ее жизни. Когда же? Пожалуй, в Трехизбянской — в родной станице Кондрата, куда поначалу он отправил ее с сыном из Бахмута, и где все, казалось бы, не предвещало беды; еще там поняла она не своим бабьим умом, а сердцем: прежней, спокойной и привычной жизни не вернуть... Нет, нет, это произошло раньше. В самом Бахмуте, в котором они прожили многие годы и в котором появился на свет Микита, ощущала она в последнее время тревогу. Словно едкий дым, наползла на городок та тревога. Только дым постоит, постоит да исчезнет — ветром ли его унесет, сам ли развеется...

Анна поморщилась: в ушибленную голову будто впилась вдруг иголка. «Лишь бы не закричать»,— она закусила губу. Иголка прошла от затылка к виску и словно сгинула. Как же стало легко без боли. И опостылевший звон, что заполнял голову, разом вылетел.

И Анна, глубоко вздохнув, снова принялась вспоминать про жизнь в Бахмуте. А ведь верно, тревога надвинулась на городок вместе с дымом. С самым настоящим: Кондрат поджег бахмутские солеварни. Какую добрую соль добывали на них! Соль кормила: казаки бойко продавали ее на царицынском и черкасском торгах. Чистая, белее снега, она повсюду хорошо шла. Свой промысел бахмутцы так и называли: соляной достаток.

Да, видать, мозолило это глаза государевым прибыльщи-

кам[1]. Чего только не отобрали у казаков: рыбу на Дону не трожь, лес не руби — все, мол, царево. Землю да угодья тоже, вишь, повсюду на бояр отписывают. Дотянулись руки загребущие и до бахмутской соли.

Пошли слухи, прислал, дескать, царь указ, по которому отходят солеварни Изюмскому полку. И верно, вызвал Кондрата полковник Шидловский в городок Изюм, читал тот указ. Вернулся Кондрат чернее тучи. Трухменку[2] на скамью бросил и, даже сабли не отцепив, сел у окна плести бредень.

Анна и Микита не приближались, не заговаривали. Знали: тронь — взорвется, как порох. А во гневе крут был Кондратий — не попадись под горячую руку. Вот и усмирял он сам себя — плел бредень. И никто из казаков не смеялся, что занимается атаман таким бабьим делом. Лишь спрашивали у Анны, кивая на окно: как, мол, твой? Отходит помаленьку — отвечала. Она и впрямь знала, когда он начинал успокаиваться. Если пальцы его работали быстро, значит, еще кипел; если помедленнее да вдруг вовсе останавливался, значит, выходила из него ярость.

Припомнилось Анне, что до позднего вечера просидел тогда Кондрат с бреднем — плел, выгонял из себя гнев, размышлял, как быть. Потом ушел, так и не притронувшись к еде, которую она выставила на стол. Ночью вместе с верными товарищами он сжег солеварни. Казаки одобрили: «Пущай все пропадает, а прибыльщикам не достанется».

Полковник Шидловский хотел наказать бахмутцев, привел под стены городка свой полк. Но казаки встретили солдат пушечными выстрелами. Полк убрался восвояси. Однако ж дело на том не закончилось.

Прибыл из Москвы государев дьяк Горчаков с повелением: учинить сыск — кто, мол, поджег устроил да каков убыток. Кондратий взял дьяка под стражу. Посиди, дескать, в темнице и не суй свое поросячье рыло куда не след.

Дальше — хуже. Из Москвы пришел с отрядом полковник Долгорукий. Хотел с Дона всех беглых вернуть. Вот диво! На

---

[1] Прибыльщики — сборщики налогов и пошлин в пользу царской казны.

[2] Трухменка — островерхая шапка с кистью.

Дону-то, почитай, с давних пор беглая голытьба собиралась — мужики да холопы, стрельцы да солдаты, разные работные люди. Так и прозвали их: «голутвенные». Были они под защитой казачьего правила: с Дона, мол, выдачи нет. Приживались беглые на вольных землях. А проходило семь лет, принимали их на кругу[1] в казаки. И что ж, начал Долгорукий по станицам и городкам чинить расправы. Ловил беглых. Кнутом бил. Носы, уши резал...

Анна сжалась, крепче притиснулась к Миките. Про те страхи лучше не думать. Но справиться с нахлынувшими воспоминаниями не могла.

...Да, Кондрат, вишь, за голытьбу вступился. Тоже войско набрал. И пошла по всему Дону война. Беднота казачья поднялась за Кондратом, а против повернул Максимов со своей черкасской старшиной и домовитыми...[2]

4

Лошадь тащила телегу несколько часов без остановок. Передых сделали после спуска к реке на берегу. Заложникам развязали руки, разрешили напиться. Мальчику было трудно встать из-за боли в ноге, и Анна напоила его, принеся воду в пригоршне. От сарафана она оторвала длинный лоскут, смочила в реке, перевязала сыну распухшую ногу. Миките полегчало.

Он попытался рассмотреть казаков, что были возле телеги. Да разве в темноте различишь! Все бородаты, при шапках — больше ничего не приметил. Лишь один из них выделялся размерами, стоял будто стог сена среди кочек.

После короткого отдыха казаки вновь стянули пленникам руки путами, накрыли рогожей. Телега тронулась. Пока переходили брод, Микита слышал, как журчала снизу вода, как чиркнули колеса несколько раз о речной камень, как пролетели над рекой утки с посвистом, рассекая тугими крыльями воздух. Потом все стихло. Опять потащилась телега по степной дороге.

---

[1] Круг — общая казачья сходка.
[2] Домовитые — зажиточные казаки.

Без стука, без скрипа. Знать, густо были смазаны колеса — дегтя не пожалели.

Слегка повернувшись, мальчик вдруг обнаружил в рогоже дыру. Она была небольшая — словно кто пулей пробил. Микита бы и не заметил ее, но в непроглядной тьме стали проявляться над ним какие-то крошки-светляки. Мерещится, что ли? Подвигал головой, и светляки задвигались. Тогда он догадался, что это кусочек неба.

— Звезды,— шепнул он.

— Чего? — не разобрала мать.

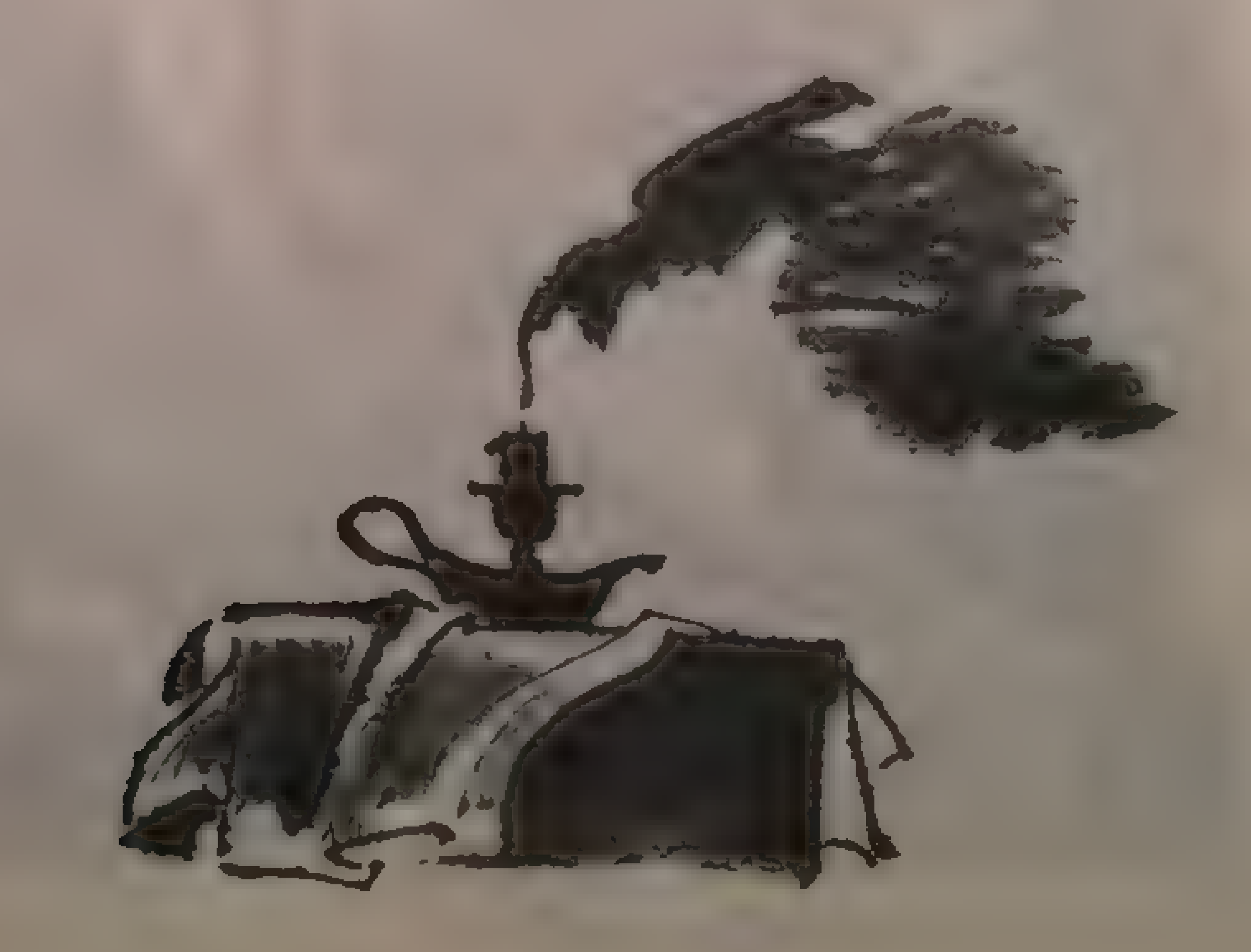
— Звезды вижу,— так же еле слышно проговорил Микита.— Может, упадет какая. Я задумал, чтобы тятька нас нашел.

— Спи,— ответила мать. Она решила, что у сына жар.— Болезному и не такое привидится.

Микита смотрел, смотрел, но звезды не падали. Он задремал.

Анна с горечью думала: «О господи! Втянулся Кондрат в полымя — война не война — и нас, вишь, втянул. Ладно, я, баба, на свете пожившая. А Микитка — малой. Он-то за что мается, сердешный?»

Ананьин поглядывал на телегу, и тоже беспокойная мысль одолевала его. Неотступно думалось: «Был бы я с одним Горой — ему бочку вина, а сто рублей мне. Дурень я дурень! Столько паразитов понабрал! Как теперь делиться?»





ПИСЬМО В АРМИЮ

1

Вот уж который день царя мучила лихорадка. Его то кидало в жар, то охватывал озноб. Тело становилось вялым, непослушным. Это был давний недуг, который настигал Петра нежданно-негаданно и в пути, и на войне, и дома. Раньше он надеялся на помощь врачей, да толку от их стараний было мало, и царь, махнув рукой на своих эскулапов, стал лечить себя сам.

Ему всегда казалось, что у него все выйдет, все получится, стоит лишь взяться да проявить раченье и упорство. Если Петра постигала в чем-либо неудача, он не падал духом, а вновь и вновь пытался достичь своего. Порасспросив врачей о лекарствах — что для чего пригоже,— он завел себе походный ларец, где были склянки с жидкостями, сухие травы, ступка для растирки порошков и даже кое-какие хирургические инструменты.

Правда, сражения с болезнями оказались куда сложнее, чем он предполагал. Слишком много было неясного, и разгадать тайны недуга он не мог. В баталиях среди пушечной пальбы он чувствовал себя увереннее: там можно было рассчитать свои

силы и неприятельские, выбрать правильную позицию да придумать ловкий ход против врага. Но как одолевать болезни?.. И все же русский царь, освоив дело плотницкое и пушкарское, мореходное и градостроительное, решил стать также и лекарем.

Иной раз во врачевании он добивался успехов. Он даже пробовал лечить других. Особо наловчился вырывать зубы, что было предметом его гордости. Если он узнавал, что кто-то из ближних страдает от зубной боли, вызывал беднягу к себе, дабы произвести нехитрую операцию. Через некоторое время он справлялся о том, как чувствует себя пациент, и, узнав, что больному полегчало, радовался, словно дитя.

Но была и еще причина, по которой царь почти перестал во время болезни прибегать к помощи посторонних. Он не мог смириться с тем, чтобы его видели слабым и жалким, и потому предпочитал переносить хворобу уединившись и запрещая коголибо к себе пускать. Исключение составлялось лишь для секретаря и курьеров, прибывающих из армии. Даже во время жестоких приступов болезни царь требовал, чтобы ему сообщали обо всех военных действиях.

Сейчас, в марте 1708 года, шведский король Карл XII, с которым Россия воевала уже семь лет, стоял со своим войском в Польше. Куда он двинется — через Смоленск на Москву или через Псков и Новгород к Петербургу, кто мог ведать. Петр беспокоился, посылал военачальникам приказы — в случае чего, мол, не вступайте пока в крупные баталии, отступите. А там, бог даст, избавится он от лихорадки и сразу же поспешит к полкам, коли будет в том нужда.

Только Карлус (так нравилось Петру называть шведского короля) и сам не отваживался двинуть войска на восток. Он надолго застрял в небольшом городке Радошковичи, решил переждать весеннее половодье, а заодно дать отдых измотанным солдатам...

И вдруг недобрую весть, от которой у Петра свело скулы, доставили совсем с другой стороны — с юга: на Дону восстала казачья голытьба.

Опять! А давно ли он получил от Лукьяна Максимова, атамана Войска Донского, сообщение: «Воровство Кондрата Булавина искоренили. Почало быть во всех казачьих городках смирно». И сам он, Петр, посчитал тогда, что с бунтарями удалось

расправиться, и поспешил написать близким: «Итак, сие дело милостию божьей все окончилось».

Петр, преодолевая телесную немочь, встал с постели, подошел к окну. День был хмурый. Сквозь серую мглу, повисшую над Невой, проглядывались заросли камыша и прибрежные кусты, а там дальше, за постройками, еле различимо темнел лес.

Царь не любил зиму. Нет, не из-за того, что простужался, мчась по российским и зарубежным дорогам в тряском возке на легких полозьях, а потому как зима несла с собой много дополнительных помех. И помехи те шли во вред делам государственным. Труднее было передвигаться армии. Задерживались в пути обозы с продовольствием, порохом, пушками. Стояли корабли.

«Зело не велик пока что город Питербурх,— думал царь, глядя в окно,— да придет время, сотворим такую столицу, что голландцы, немцы, англичане и французы воззрятся на красу ее, широко раскрыв рты. Сколь много флагов будет здесь, на Неве, над мачтами. И среди них всего боле — российских...»

Лицо Петра просветлело, будто и впрямь видел он перед собой не скованную льдом Неву, а живую, покрытую волнами ширь, по которой идут белопарусные корабли. «Да неужто сама Россия,— думал он,— не двинется вперед, подобно кораблю на добром ветре... Все, все будет на славу в сим государстве — и флот, и армия, и разные промыслы, мануфактуры и художества. Дворянских сынков покамест приходится в Европу палкой гнать за науками, да наступит день — свою академию откроем... А той России, где пятерней бороды чешут,— не бывать. Не пойдет корабль назад к той дремучей стране без дорог и морей, как не повернет река вспять свои воды...»

Петру вдруг стало жарко. Распахнул окно — холодным ветром ударило в лицо и грудь. Царь, поглотав сырого воздуха, закашлялся, перед глазами все закружилось. Он снова лег, вытер повлажневший лоб. Радостные мысли сгинули, будто вышибло их приступом кашля. И опять голову начали теснить постылые вопросы: где добыть денег для затянувшейся войны со шведами, где найти работных людей для верфей и рудников, а кто будет валить лес, строить крепости, гавани, города?..

Он взял со стола табакерку, которую сам выточил на токарном станке, принялся рассматривать, будто видел ее впервые. Тяжкие размышления не покидали Петра.

2

Что мог он придумать? Повелеть прибыльщикам, дабы еще усерднее выжимали из людишек копейки? Но мужики да горожане и так уж не знали, куда деться от разных поборов и повинностей. Без платы и шагу не ступишь. Захотел дров нарубить — плати, печь истопил — плати, в бане вымылся — опять же плати. Коли сена накосил — плати, по мосту прошел — плати, рыбу ловишь — плати, пчел держишь — с каждого улья плати. Даже за бороду брался налог. Хочешь быть при бороде — гони деньги. Горожанам обходилась она тридцать рублей в год. Крестьяне при въезде в город платили по копейке, а выезжали назад — снова с них требовали копейку, ежели борода не сбрита. Как дальше жить...

А налоги, дабы содержать армию и флот?! Среди них — корабельные, драгунские, амуничные[1]. Да чего только не напридумывали пройдохи прибыльщики! Собирали деньги на лошадей, на хомуты и седла, на провиант и на телеги, которыми этот провиант перевозился.

А повинности?! Простой люд должен был и новобранцев-рекрутов поставлять для войска, и кормить их, коли в дом придут, и на ночлег устраивать. Только чем встречать дорогих гостей, когда у самих ни крохи? Ноги бы не протянуть с голода. Из пустого горшка щей не сваришь.

Одно оставалось: бежать, чтобы разом покончить со всеми бедами. В какую сторону? Да подальше от господ и царевых слуг. В южные степи, на Дон — там, мол, житье вольное.

И бежала голытьба из городов, из деревень, с верфей. Подавались люди на юг поодиночке и ватагами. Шли, прячась по лесам и оврагам. Кто был налегке, кто тащил свой скарб, но каждый брал топор: дорога дальняя, мало ли с кем столкнешься, хорошо, коли добрый человек, а не разбойник. К тому же, случалось, вдогонку беглецам посылали отряды с наказом: поймать да вернуть на прежние места. Многие людишки нашли погибель в пути, а все бежал народ неуемно. Не остановить его было, как лед на реке. И у всех на уме: лишь бы поскорее добраться к Дону. Ибо жили там казаки издавна по правилу: с Дону выдачи нет.

---

[1] То есть на приобретение амуниции.

3

За окном и светать не начинало, а Петр уже велел позвать кабинет-секретаря. Занимавший эту должность Алексей Макаров хорошо знал привычку царя вставать рано, а потому успел позавтракать и был ко всему готов. Правда, в последние дни Петру было худо, и он не обращался к Макарову, но сегодня больной почувствовал себя легче.

Войдя, секретарь попробовал расспросить царя о здоровье, но тот лишь рукой махнул:

— Садись за стол и бери перо. Надобно с поспешанием отправить письмо в армию.

— Кому писать?

— Князю Василию Долгорукому, гвардии майору.

— Василию Владимировичу? — окунув перо в чернильницу, уточнил Макаров.

— Да. Брату полковника Долгорукого, что был убит воровскими людьми Кондрашки Булавина. Пиши.

Петр продиктовал приказ, по которому майору Долгорукому надлежало выехать из Польши в Москву. На пути ему также было велено явиться к смоленскому губернатору, дабы получить дальнейшие распоряжения.

Макаров, быстро написав, ждал, что царь добавит какие-либо разъяснения — в связи с чем, дескать, дается приказ.

Петр молчал, что-то обдумывая. Прошло несколько минут, но он сидел недвижно, уперев круглый подбородок в руку.

— Все? — обождав, решился спросить кабинет-секретарь. И пояснил: — Не надобно ли приписать, дабы князь Долгорукий исполнил приказ без промедления?

— Сие дело большой важности,— кивнул царь.— Припиши.

Секретаря Петр ценил. Всего лишь год находился при нем Алексей Макаров, но постиг свои обязанности в совершенстве. Кабинет-секретарь был точен, памятлив и старателен, имел хорошее образование. Царь поручал ему вести переписку и докладывать о прошениях, доверял даже составлять указы. При дворе стали смотреть на Макарова как на лицо весьма значительное. Кое-кто из вельмож пытался дать ему взятку, чтобы Макаров замолвил словечко перед царем. Кабинет-секретарь был неподкупен.

Изучив характер Петра, он нередко угадывал его желания и помыслы. Но сейчас и Макаров не мог предположить, для чего царь вызывает из армии боевого офицера. Наградить? Но на войне затишье, баталий нет. Наказать? За что? Неужто за измену? Ежели так, Долгорукому не позавидуешь. К изменникам Петр пощады не знал. Иное дело, когда в открытом бою он разбивал шведов. Пленных вскоре отпускал, даже с почестями. Раненым велел оказывать помощь. Он умел восхищаться воинским искусством противника, и Макаров не раз слышал, как царь называл того же Карла братом.

Но если Петру доносили о заговорщиках, бунтарях, казнокрадах, его охватывала слепая ярость. Он считал, что эти воры приносят вред своему государству, в чем видел самое страшное преступление.

И тогда царь приказывал вести розыск[1] с пытками. А потом виновных ждала казнь. Летели отрубленные головы. Качались на веревках повешенные.

— Отправишь с посыльным офицером фельдмаршалу Шереметеву,— сказал Петр, поставив подпись на листе бумаги.— Через него передадут Долгорукому. Наискорее будет. Ступай. Да скажи, чтоб до обеда меня не тревожили. Слаб я еще. Прочти в канцелярии почту. Потом доложишь, что есть важное. Глянь, рука трясется.

У царя действительно вид совсем хворобный: бледен, под глазами темные мешки, без парика, сидел, сутулясь, в расстегнутом домашнем кафтане мягкого сукна.

Легко поклонившись, Макаров вышел.

4

Отпуская майора Долгорукого из армии, фельдмаршал не знал, как с ним держаться, и смотрел на князя с некоторой настороженностью. Досадовал: уж меня-то мог бы Петр Алексеевич оповестить, зачем Долгорукого требует.

А тут еще майор и сам о том же спросил: не ведомо ли, по какой причине ехать ему в Москву?

---

[1] Розыск — следствие.

— Ради дела пустого курьера не пошлют,— уклончиво произнес фельдмаршал.— Вот так-то, Василий Владимирович.

— Надолго ли? — В лице Долгорукого мелькнуло беспокойство.

— Ты, князь, зело много знать хочешь.— И отвел глаза.

Зато на вопрос майора, когда двигаться в путь, Шереметев ответил без колебаний:

— Езжай наскоро, как сказано в письме. Собери, что надобно, и сразу трогай.

Поразмыслив, фельдмаршал решил на всякий случай приставить к Долгорукому сержанта с двумя драгунами.

— До самой Москвы с майора глаз не спускать,— повелел он сержанту, оставшись с ним наедине.— Головой ответишь.

Прощаясь же с Долгоруким, шепнул:

— Я тебе, князь, трех людей даю. В дороге, может статься, помощь понадобится. Да...— он чуть приумолк,— будешь у государя, не упирайся, ежели в чем виноват. Желаю, дабы фортуна тебе помогла. С богом!

Фельдмаршал не кривил душой, напутствуя майора добрым словом, хотя дружбы между ними никакой не было. Он и через некоторое время, глядя на князя, выезжающего по талому снегу со двора, повторил: «С богом!» Майор, как и фельдмаршал, был выходцем из знатного рода, и, видимо, одно лишь это вызывало сейчас у Шереметева расположение к подчиненному, которого невесть зачем, а скорее всего не ко благу, так срочно затребовал государь. Служа верой и правдой Петру, Шереметев все же не мог не испытывать досады от того, что царь приблизил к себе многих людей безродных.

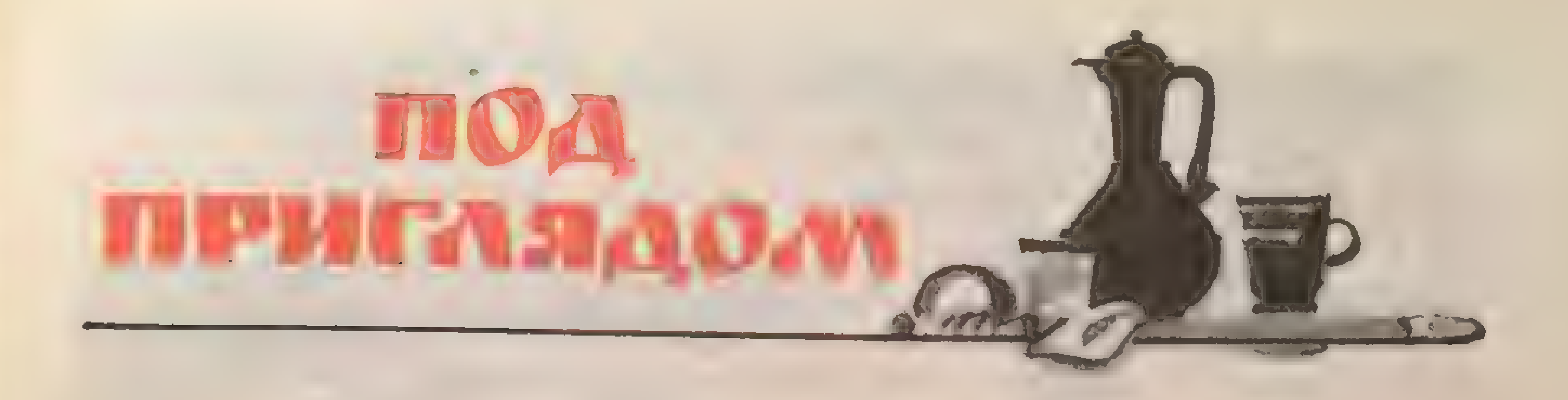
Взять того же Петрова любимца — Александра Меншикова. После царя, почитай, первый человек в государстве. А кто он — выскочка, мужик, из подлого племени. Неграмотен, свою подпись толком поставить не может. Но царь зовет его ласково Алексашей, Данилычем, у самого сердца держит. По-немецки кличет: «майн герц». Князем сделал. Подумать только, «светлейший князь»! Нет уж, истинно говорится: черного кобеля не отмоешь добела. Храбр и царю предан? Так мало ли в армии достойных людей! Ему же, Шереметеву, за первую победу над шведами Петр присвоил звание фельдмаршала и наградил орде-

ном Андрея Первозванного. Семь лет прошло со дня той славной виктории...

Он усмехнулся, вспомнив, что орден по поручению царя привез ему в армию Меншиков. Как тогда улыбался, как поздравлял, плутовская рожа. А потом через три года Петр отправил Шереметева с полками из Лифляндии в Астрахань. Надобно было подавить бунт, учиненный тамошними стрельцами. Царь не на шутку тревожился: астраханцы перебили в своем городе три сотни начальных людей да иноземцев, что были на государевой службе, казнили воеводу Тимофея Ржевского. Правда, воевода тот в алчности меры не знал — вступил в долю с торговцами хлебом да так цены повысил, что астраханцам терпеть стало не под силу. А еще бороды резал прямо на улицах, платье тут же всем укорачивал на немецкий лад. Но сам-то не из храбрых оказался — как восстание началось, в курятнике спрятался. Там ему и конец пришел... Да, ежели б он, Шереметев, не спешил по бездорожью со своими солдатами к Астрахани, бунт, глядишь, и на другие города перекинулся бы. Петр гнал одного курьера за другим и все с тем же: изволь идти с поспешанием; выполняй, что велено, не мешкая; идти тотчас, не чиня отговорок... Ладно, всегда государь считал его нерасторопным. То не в обиду, хотя один лишь долгий путь чего стоил! Но как мог Петр приставить к нему, фельдмаршалу, человека с низким воинским званием — сержанта Щепотьева, дабы тот в походе надзирал за ним? От унижения Шереметеву тошно делалось. Только не станешь поперек царской воли. В послании Петра так и указывалось: что Щепотьев будет говорить, то и выполнять...

Теперь же, словно в напоминание Петру, Шереметев сам отправил Долгорукого с сержантом.

«Вот до чего дожили,— не без горечи думал Борис Петрович,— к большим командирам сержанта ставят для пригляду. Ну-ну, Россия! Что с тобой сбудется?!»



ПОД ПРИГЛЯДОМ

I

Так они и продвигались — скакали почти весь день от зари до зари. Останавливались лишь на короткое время, чтобы дать отдых лошадям да самим подкрепиться, и снова в путь, пока не начинало темнеть.

С начала апреля подули теплые ветры. Словно кто-то вдруг развалил незримую ледяную плотину, и потоки воздуха, которые пробуждают все живое, потекли по застывшей земле. Да и само солнце будто вдруг ожило, приспустилось, вспомнив, что должно не только светить, но и греть. Даже голый лес и то, казалось, расшевелился, отогнал зимнюю дрему. Стволы берез и осин так и заиграли в лучах солнца.

Украдкой, по ночам, еще возвращался морозец. Дышал на лужи, на проталины, останавливал малые ручьи. Да разве совладаешь с весной — наступал день, и тонкий ледок таял.

Князь Долгорукий ехал, ничего не замечая. Его не грело тепло, не веселил яркий свет. Все едино было. Словно какая-то пелена стояла перед ним — ни стряхнуть ее, ни отвести. Глаза майора были опущены, видел он лишь синий придорожный снег с бурыми пятнами лошадиного навоза. Думы — одна чернее другой — давили, не позволяли поднять голову.

Чем же он провинился? Долгорукий уже почти не сомневался в том, что государь зол на него. Не в Петербург же вызвал, а в Москву — в столице велись дознания и розыски. Мастеров заплечных дел там хватало. Тот же пес Ромодановский[1] не моргнув руки выломает... Может, царь гневается за мост, который

[1] Князь Федор Юрьевич Ромодановский руководил Преображенским приказом, где велись политические сыски.

солдаты Долгорукого не успели сжечь, отступив во время последней стычки со шведами? Но ведь ему дали необстрелянных новобранцев. И все же он остановил их бегство и сдержал врага. Нет, в конце концов могли разжаловать в армии, а не в Москве. Тут что-то другое...

Снега с каждым днем быстро оседали. По дороге, наезженной и утоптанной за зиму, трудно стало скакать. Наст держал плохо, кони то и дело проваливались, спотыкались, быстро уставали.

— Кабы лошадям ноги не поломать! — крикнул на ходу сержант, поравнявшись с Долгоруким. И предложил: — Нешто по целине взять, а, князь?.. И то легче.

Поехали по целине. Движение хотя и замедлилось, но не намного. Зато шаг у лошадей сделался ровнее.

Неподалеку от Смоленска при переходе через реку лошадь майора угодила в полынью. Князя удалось спасти. Лошадь быстрым течением утянуло под лед. Хорошо, что рядом на берегу был монастырь. Окоченевшего майора растерли водкой, положили на горячую печь под медвежью шкуру.

Разморившись, Долгорукий быстро уснул. Но когда проснулся часа через два, услышал такое, от чего и на жаркой печи все в нем похолодело. Чуть сдвинув шкуру, майор глянул вниз.

— Да полно. Верно ли он князь?.. Смирен аки агнец,— говорил щуплый инок, что сидел за столом с драгунами и сержантом. На столе высился кувшин, перед каждым гостем была кружка.

— Вот те крест,— убеждал сержант.

— Зело тих.

— Станешь тих, коли тебя с рук на руки сдают. Ко Смоленску прибудем, там кабы цепи на сердешного не надели.

— А говоришь — князь,— недоверчиво отозвался инок.

— Вестимо, князь,— горячился захмелевший сержант.— Мало ли бояр в опале? А сколько на дыбе богу душу отдали.

— Бояре?.. Лучшие люди?

— Ноне на Москве все по-новому,— заговорил один из солдат — большелобый, с мохнатыми бровями.— Ноне лучшие люди — немцы. Потому все по-немецки прозывать велено. Я в Москве жил, знаю.

— Ишь!..— изумился другой солдат, постарше.— С Москвы!



А не сказывал. Похвались, Тимошка, про жизнь московскую. Там, грят, заместо хлеба пряники поедывают? — И он хитро подмигнул монаху.

Мохнобровый обвел всех взглядом, потом, кашлянув, произнес:

— Отец мой в стрельцах был. После бунта, как начали сыск вести, убег. Боле не видал я его. А про себя скажу: с голода траву-лебеду ел. И вовсе бы помер. Да лодочник Пахом с Яузы-реки взял меня, сжалился. Вот и весь сказ про пряники.

— Выходит, твой отец вор. Да и ты, небось, в воровстве был замешан. — Сержант слегка стукнул пустой кружкой.

— О ту пору, — спокойно ответил мохнобровый, — исполнилось мне двенадцать годов.

— Ладно. Что было, быльем поросло. — Сержант посмотрел на монаха. — Мал твой кувшин, а вино доброе. Принес бы еще, святая душа. Воздастся тебе.

— Неможно, — смиренно молвил инок. — Вина в бочке малая толика осталась.

— Да ты не скупись. Нам много не надобно, — сказал драгун, что был постарше.

— По кружке для неторопкого разговора, — уточнил сержант.

Видно, монаху было интересно узнать о переменах. Вздохнул:

— Быть по-вашему.

Он взял пустой кувшин и вскоре вернулся с наполненным.

— Так-то, божий человек, нового куда ни глянь — много, — отхлебнув из кружки, вернулся к прерванной беседе сержант. — Я вон в Питербурхе сваи бил... Ты слыхал, что государь на лесах да на болотах град строит?

— Крепостицу-то?.. Дошло до нас.

— Крепостицу... — хмыкнул сержант. — Та крепость о шести бастионах! Да верфь — Адмиралтейской прозвана. С нее корабли на воду спущают. Да сам град — незнамо какой величины будет. Пока что в лесу просеки рубят, а там из просек улицы станут. Самую большую просеку царь прешпектом зовет.

— Чудно́, — заметил монах и понизил голос: — Не по-нашему.

— Я и говорю, все от немцев пошло, — вмешался мохнобровый драгун. — Бояре парики носят, кофей пьют...

— Что за питие? — спросил монах.

— Не отведывал. Варят его. Должно быть, навроде пива. Хотел у кухмейстера дознаться, не довелось.

— Кому же сие смешное имя дали? Не по-христиански окрестили.

Солдаты засмеялись, но сержант показал рукой на печь и приложил палец ко рту. Потом ответил:

— Эдак бояре своих поваров кличут.

Увидев, как монах удивляется немецким словам, гости принялись наперебой выказывать все, что знали:

— То-то, святая душа. Ныне и крепость не крепость называют, а фортецией. На приступ идти — учинить штурм.

— Ишь ты!

— Пушкари, стало быть, — бомбардиры. Конники — рейтары. Пехоту как зовут, не слыхивал?

— Нет.

— Инфантерия.

— Ежели мы над шведом верх взяли, значит, одержали викторию.

— А коли он над вами?

— Тогда сказать по-новому — потерпели конфузию.

— Диво, диво! — улыбался инок и вдруг, посерьезнев, сказал: — У нас тут слух был... Будто Петра Алексеевича во младенчестве подменили. Истинного царевича взяли, а в колыбель немца положили...

— Кто слухи те вредные пускал, давно на плахе кончил. — Сержант отодвинул опустевшую кружку.

— На все воля божья, — опять вздохнул монах. И вдруг спросил, потрогав бороду: — А скажи, мил человек, брадобритие не отменили?

— Тебе-то что! Вас, монастырских, то дело не касаемо. Дал вам государь послабление. Остальным велено брить.

— Борода — украшение, богом дарованное. Без нее человек обезьяне либо псу подобен.

— Ты что, старец, мелешь? Язык-то придержи. За слова такие не языком — головой поплатишься.

— Те словеса не мои, но патриарха Адриана, царствие ему небесное.

— Нет уж, старец, непотребные речи оставь. Пойдешь супро-

тив Петра Алексеевича — дыбы не минуешь. Ты нашего князя видел? Покрепче тебя много крат, не сравнишь ни родством, ни статью, а ехать к царю страшно. Утопиться, вишь, хотел — в реку кинулся, насилу вытащили.

Первым порывом майора было схватить шпагу и заколоть негодяя, так гнусно истолковавшего происшествие на реке. Но он сумел погасить вспышку гнева и заставил себя впиться зубами в медвежью шкуру, дабы лежать смирно и узнать побольше от захмелевшего сержанта.

— Грех велик — на себя руки накладывать,— проговорил инок.

— Знамо, что велик. Да князю ныне свет не мил. Сам генерал-фельдмаршал сказал мне: доглядай за ним. А не усмотришь, велю тебя палками забить. Вот те и князь Долгорукий! Чуешь, чем пахнет?

— Спаси, господь. С вами худа накличешь.

— Не боись. Ты нам не надобен.

Инок приподнялся:

— Пошли, покажу, где спать будете. Здесь вам вместе тесно.

— Их отведи,— сержант кивнул на драгун,— а я останусь при нем, соколе нашем. Кабы не убег.

За монахом и драгунами закрылась дверь. Сержант лег на полу под печкой и быстро уснул.

Долгорукому было не до сна. Мысли в голове путались. Каков Шереметев, а?! Старая, трусливая лиса: даю трех людей, в дороге, мол, помощь понадобится. Нет, нет, он ни при чем. Он исполнял волю Петра... За что же царь гневается? Ужели за мост, что не сожжен при отступлении?.. Да полно, не в том суть. Но чем-то провинился. Чем же, чем?..

Никакой своей вины князь не находил. И он, и его старший брат Юрий, погибший на Дону, несли службу не за страх, а за совесть. Но если и виновен Юрий перед царем, неужто младшему брату нести ответ?

Майор попытался представить, каким же проступком полковник Долгорукий мог не угодить Петру. Князь Юрий служил в приказе у Ромодановского, значит, тоже вел политические сыски. «Никак, совершил непотребное, дал промашку?..— ломал голову майор.— Поди теперь догадайся. Обрек невиновного

на гибель? Невелик грех в застенках у Ромодановского. Напротив, отпустил виноватого? Взял мзду?.. Царь мздоимцев карает... Постой, постой...»

Князь отбросил к стене медвежью шкуру. Он задыхался. Не хватало воздуха. Будто петля давила. «Уразумел! Истинно уразумел! Не брат ли прислал ему с Дона двести золотых? Прислал с верным человеком без письма. И не тот ли человек сказал, дабы хранил он эти деньги у себя до поры до времени?.. Вернется-де брат, заберет. А покамест, мол, никому ни слова...»

Майор метался на печи, скрежетал зубами. Погибать из-за проклятого золота? Понятно, почему Юрий не отослал деньги домой — не хотел навлекать на семью несчастье. Небось, заполучил их неправдой. Что ж сотворить? Сдать в казну, покаяться? Но будет ли прощение... Убить сержанта и сбежать: десять бед — один ответ? Тогда уж верно подведешь себя под петлю. Да и не сбежишь далеко, сразу сыщут. Нет, нет, возможно лишь покаяние...

Всю ночь он не смыкал глаз. То забирался под медвежью шкуру (навек бы под ней схорониться!), то вылезал из-под нее — мокрый от пота. Приставленный Шереметевым страж — сержант — непробудно спал. От его свирепого храпа сотрясались на столе брошенные пустые кружки.

«Эх, Юрий, Юрий! Выходит, за твои грехи государь воздаст мне. Неужто не искупил ты их своею жизнью? — размышлял майор.— Цена немалая. Выше не возьмешь, Петр Алексеевич — верх. Али не помнишь ты братовых заслуг?»

В воображении возникала картина гибели брата. Вот в схватке с булавинцами Юрий кинулся в самую гущу. Не один, не два, почитай, пятеро воров рухнули наземь под его саблей, вот уж и сам он ранен, и не единожды, но бился, пока не упал бездыханный на руки подоспевших рейтаров...

А может, воровская пуля сразила Юрия первым в несдержимой атаке на донских мятежников? Не в том ли бою были разбиты напрочь их шайки? Не ты ли тогда, Петр, возрадовался, узнав о разгроме булавинцев?..

Да, выход один. Не в Москву надобно ехать после Смоленска, а в Петербург — к царю. Упасть ему в ноги. Прости, государь, своего раба недостойного...

КАК ВСЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

1

А ведь верно — радехонек был Петр, когда получил от Максимова весть, что побиты людишки Булавина. Верно и то, что нашел на Дону свою смерть полковник Долгорукий. Нашел, да только была она совсем не похожей на ту, которую видел в мыслях князь Василий.

* * *

Полковника Юрия Долгорукого встретили в Черкасске почтительно. Сюда, в столицу Войска Донского, прибыл он из самой Москвы и не с малочисленной свитой, а с большим отрядом. Всех солдат щедро угостили, задали корма лошадям.

Войсковой атаман Максимов, первое лицо в Черкасске, пригласил князя к себе. В доме — просторном и крепком — все было поставлено на широкую ногу. По стенам ковры с дорогим оружием, стол и скамьи тяжелые, с резьбою. После обильного обеда с разными наливками и пивом гостя уложили почивать, но князь поспал мало — всего-то какой-нибудь час,— а проснувшись, сразу же захотел приступить к делу.

Максимов — краснолицый и грузный, с крупным носом, похожим на чирик[1],— беспокойно оглядывая гостя маленькими свиными глазками, распорядился было, чтобы опять накрывали на стол, но Долгорукий остановил его:

— За хлеб-соль спасибо. Яства да наливки твои вкусны, только не за тем я сюда ехал, дабы галушками утробу набивать. Во всех казачьих городках надобно учинить перепись ново-

[1] Чирик — ботинок.

пришлых. А для того выделишь мне в помощь своих людей, да побольше. Розыск начнем завтра же.

— Чего спешить, князь? — Маленькие глазки атамана хитро забегали.— Переведи дух с дороги, а там и примешься. Путь, небось, нелегкий был?

Полковник и слушать не стал. Помнил: государь Петр Алексеевич нерадивых терпеть не может. Прогневишь его — поплатишься дорого.

— Вот царев указ,— сказал Долгорукий,— прочти. Не в гости я к тебе добирался.

Максимов взял грамоту. Царь писал: «Известно нам учинилось, что из разных городов, как с посадов, так и из уездов, посадские люди и мужики разных помещиков и вотченников не хотят платить денежных податей и, оставляя свои промыслы, бегут в донские городки...»

— Бегут,—вздохнул атаман, отрывая глаза от грамоты,— бегут, окаянные. Неужто управы на них не сыскать?

— Дале читай,— не стал отвечать на пустой вопрос полковник.

«...И укрываются на Дону с женами и детьми,— читал Максимов,— тех беглецов донские казаки из городков не высылают и держат в домах своих...»

Атаман читал, а сам думал, что надо бы сказать Долгорукому, будто в Черкасске беглых мужиков нет. Новопришлую голытьбу отдавать не хотелось. Работала она за гроши, а делала, почитай, все. Что ж теперь, домовитые казаки сами, что ль, будут и сено косить, и лошадей пасти, и дрова к зиме готовить... «Тьфу, черт! — чертыхнулся про себя Лукьян.— Я, поди, забыл, как подпругу на коне затягивать. А в хозяйстве — на базу и в доме — мало ли забот! Неужто все на своем горбу тащить?! Задобрить надобно Долгорукого. Полковник-то, небось, златолюб. Дать ему из рук в руки — и дело с концом. А ежели не возьмет да прогневается?.. Полно, у его рода, вишь, и прозвание такое — руки долгие, загребущие. Хорошо бы поговорить с казацкой старшиной, собрать мзду для князя. И немедля, сразу же...»

На следующий день полковник спросил Максимова в упор:

— Когда людей пришлешь, атаман?

— Каких?

— Мне в помощь, беглых выявлять. От тебя, атаман, я требую верной службы государю. А пустые разговоры нынче не к месту.

Шустрые глазенки Лукьяна так и забегали.

— Когда, князь, изволишь приступать к тому делу?

— Сегодня же.

— Беглые все в верховых[1] городках и станицах. Путь не близкий.

— На все свой черед. А перво-наперво я в Черкасске розыск устрою. И сподручнее всего...

— У нас беглых нет,— не сдержавшись, перебил Лукьян полковника.— Чтоб мне провалиться на месте!

— Успеешь еще. Вот я и говорю,— спокойно продолжил полковник, будто не замечая, что Максимов встревожен,— сподручнее всего начать с твоего дома.

— С моего?.. Во здравии ли ты, князь? — Атаман так и вскочил. Лицо его пылало огнем.

— Да ты садись. Али впрямь провалиться боишься? — Уголки тонких губ князя чуть приподнялись — так полковник улыбался.

Густой красный налет постепенно сходил с лица Лукьяна.

— Погоди,— сказал он, приостыв,— я зараз.

Вскоре он вернулся и положил на стол перед князем небольшой мешок из мягкой кожи. Там были деньги, которые он успел собрать с домовитыми накануне.

Максимов посмотрел на князевы губы, подумал: «По-змеиному улыбается. Злыдень!», но все же решился, кивнул на мешок:

— Тебе, батюшко, от нас, от казачьей старши́ны.

— Что это? — Уголки губ у Долгорукого опустились.

— Деньги.

На лице полковника ничто не дрогнуло, глаза холодно вперились в Максимова.

— Подкуп хотите учинить. А пошто?..

Атаман молчал. «Неужто не проймешь ничем проклятого москаля?»

— Ведомо ль тебе, что за такие даяния Петр Алексеевич

[1] Имеются в виду городки, расположенные в верховьях Дона.



велит сотворять жестокие экзекуции?[1] — припугнул Долгорукий иностранным словом.

И верно, незнакомое слово обожгло Лукьяна пуще брани. Он опять вскочил:

— Не подымай, князь, против себя домовитых. Они верой-правдой государю служат. Истинно говорится: не руби сук, на котором сидишь.

— Сук-то, гляди, гнилой. Вот-вот сам обломится. Пошто подкуп чините? — повторил полковник и, улыбнувшись по-змеиному, молвил: — Думаешь, не ведаю? Вижу, вижу...

— Двести золотых,— выпалил атаман,— не брезгуй.

Как ни строг был князь, а все же на миг расслабился, не совладал с собой, коснулся будто бы невзначай мешка. Но то движение, почти незаметное, не ускользнуло от Лукьяна.

«Эх ты, «вижу, вижу»! — усмехнулся он.— Глаза-то и у тебя от золота слепнут».

— А где ныне ваш Кондрашка Булавин? — переменил полковник разговор.

— Наш! Ты, князь, нашими волков-то не зови.

— И вы, небось, не овцы. Хотел бы я с ним свидеться.

— Неможно,— вздохнул Максимов,— ищи ветра в поле.

— А все же пошли к нему людей. Скажи, коли подобру явится, винить не буду.

— Пошлю, ежели велишь. Слыхал я, что он в городке Ореховом Буераке обретается. Есть у меня свой человек из бахмутских казаков — Ананьин. Его и пошлю. Булавину он знаком. А людей тебе в подмогу дам в сей же час. И старшин с тобой отправлю — народ надежный.

* * *

Каждый день в Ореховый Буерак стекалась голытьба. Все прибывали встревоженные, говорили о расправах Долгорукого. Уже две тысячи новопришлых попали в руки полковника, куда-то отправил он их под охраной.

Прискакавший из Черкасска Ананьин поведал Булавину, что сам видел московского князя и что полковник-де обещает на Булавина зла не держать, зовет к себе, хочет, мол, свидеться.

---

[1] Экзекуция — телесное наказание.

— Но ты, Кондратей Офонасьич, ему не верь,— прибавил лазутчик.— Коли поедешь, свою погибель найдешь. И Максимову тоже не верь. Ему вольный Дон не надобен, он заодно с Долгоруким.

— А сам-то ты с кем? — разглядывал Булавин бывшего бахмутца.— Навроде у Максимова служил.

— Служил... Да настал край моему терпению. Не дорог Луньке наш казацкий род — на своих руку поднял. Московиту, вишь, отряд дал со старшинами. Да ежели ты Максимову попадешься, он на тебя сразу колодки наденет и Долгорукому выдаст.

Словно бы на духу говорил Ананьин, смотрел открыто, а сам вспоминал бегающие глазки войскового атамана. Ибо по наущению Максимова все это он сейчас и выкладывал. Войсковой понимал, что Булавин все равно не явится к Долгорукому, а про отряд со старшинами и так узнает. Зато свой человек среди повстанцев был Максимову очень нужен.

— Меня ты знаешь, Кондратей Офонасьич, в богатеях я не ходил,— продолжал Ананьин.— С домовитыми мне не по пути.

— Добро, что к нам пришел,— кивнул Булавин.— Ты, кажись, читать, писать можешь?

— Могу.

— Грамотеи нам ныне надобны пуще пороха.

Сказал так Булавин потому, что, собирая войско, он рассылал по всему Дону прелестные[1] грамоты. Писал в них: «Князь со старшинами, будучи в городках, многие станицы огнем выжгли и многих казаков кнутом били, губы и носы резали и младенцев по деревьям вешали».

Он звал в грамотах к себе всех, против кого чинят зло князья, старшины и другие обидчики.

Когда же ратных людей набралось предостаточно, Булавин велел созывать всех на круг.

Расположились на широком майдане[2]. Первым заговорил старый казак Иван Лоскут. Еще со Стенькой Разиным плавал он по Волге на стругах, брал Астрахань.

— Скажите, казаки,— старик обвел круг хмурым взгля-

---

[1] Прелестными их называли от слова «прельщать», то есть привлекать, призывать.

[2] Майдан — площадь, на которой устраивались сходки.

дом,— доколь душегуб Долгорукий будет топтать нашу донскую землю? Доколь он будет повсюду нести горе да печаль?.. В нашу пору при Степане Тимофеевиче разговор с таким псом был один — голову долой.

Зашумели казаки:

— Так говорит!..

— Верно!..

— Пошто терпеть зверя...

— Да неужто будем как бабы сидеть и лить слезы?..

Булавин поднял кверху бунчук[1], голоса стихли.

— Коли будем все разом кричать, толку не жди. Сошлись мы сюда не глотки драть, но дело решить, а времени у нас мало. Пусть говорит каждый, кто хочет, да коротко.

Бывший бахмутский атаман, а ныне предводитель восставшей голытьбы, Кондратий Афанасьевич Булавин слыл человеком рассудительным и справедливым. Немолод, перевалило за сорок, в густой черной бороде проседь — будто чуть пеплом присыпано. По левой щеке короткий рубец — когда-то пуля царапнула. Лицом Булавин часто бывал хмур. Кто не знал, думал, не подступишься. Улыбался он редко, жизнь не приучила. Зато вдруг как одарит улыбкой, у всех на душе светлело.

На том круге постановили князя Долгорукого и казачьих старшин-изменников предать смерти. Атаманом выкрикнули Булавина, выбрали ему помощников — есаулов. Среди них же оказался и максимовский лазутчик Ананьин.

* * *

...Ночь застала полковника Долгорукого в городке Шульгине на реке Айдар.

Подвыпившие старшины, вместе с которыми он остановился в просторной избе, долго орали казацкие песни. От этих песен — грустных и протяжных — веяло чужой, непонятной жизнью, а когда казаки пели весело да еще с озорным присвистом, полковник чувствовал и вовсе что-то враждебное.

— Хватит горло драть,— не выдержал он.— От вашего крика в голове гудёж.

---

[1] Бунчук — у казаков символ атаманской власти, короткое древко с конским хвостом.



Старшины умолкли, да только легче полковнику не стало. Он видел в окно, как на недалеком пожарище всё плясали, не могли уняться языки пламени. Еще днем, когда переписывали жителей городка да выявляли новопришлых, полковник велел для острастки спалить несколько изб. Новопришлыми, а стало быть беглыми, он посчитал всех, кто не прожил на Дону пяти лет. Он приказал согнать их на майдан, высечь, а затем каждому пятому резать уши. Вопли и вой поднялись на майдане. «Нехристи!..», «Псы боярские...», «Поплатитесь, кровопийцы...» — неслось отовсюду. И с каким-то особым надрывом, покрывая весь этот яростный шум, кричал тощий русоголовый мужичишка: «Ироды... ироды... ироды...» Так вопил он, пока Долгорукий не распорядился, чтобы мужичишку вздернули. Уж сколько времени прошло с того часа, а в ушах полковника все стоял леденящий душу крик. Вот и теперь, как только перестали старшины петь, сразу будто бы вернулось и заполнило собой наступившую тишину надрывное проклятие: «Ироды...»

В избу вошел капитан Ипатьев. В Москве он служил в одном приказе с Долгоруким, а в нынешнем походе был правой рукой полковника. Подсев к Долгорукому, он вполголоса доложил:

— Булавин выступил из Орехового Буерака, движется на Шульгин городок.

— Откуда вести? — нахмурился полковник.

— Казак прискакал. У Кондрашки в войске есть люди Максимова. От них.

— Где он?

— Отпустили. Сказывал, назад спешить надобно.— Ипатьев покосился на старшин, не слышат ли.

— Вздор сие,— махнул рукой полковник.— Слухи распускают. Хвалилась синица море поджечь...

Но все же велел усилить охрану.

Своими действиями на Дону князь был доволен. Всего лишь неделя прошла, а беглых мужиков сыскал уже великое множество. Нет, правильно он сделал, что разделил отряды на четыре части: по всем главным донским притокам продвигаются его солдаты. Теперь государь останется доволен, глядишь, наградит за старание. А то, что голытьба казацкая с Кондрашкой Булавиным поднялась,— пустое. Времена другие. Что смогут нынешние Стеньки Разины? Петр-то Алексеевич вон какими делами заво-

рачивает — шведских генералов побивает. Куда черни против государевых войск! Да этот беглый сброд шапками закидать можно...

Среди ночи он проснулся от ружейных выстрелов. Вскочил, нащупал впотьмах пистолет.

— Слышь? — растолкал он Ипатьева.

— Стреляют?..— И капитан мигом сбросил остатки сна, тоже схватился за пистолет.— Говорил же, нападут...

Пальба уже доносилась от соседней избы, где заночевали старшины.

— В случае чего...— горячо дышал полковник в самое ухо Ипатьеву,— ежели ворвутся... скажешь, что ты Долгорукий. Не тронут, побоятся. А я — за рейтарами.

Он выскочил в сени, но в наружную дверь уже ломились. Тогда через клеть, что примыкала к задней части избы, он проник на сеновал и зарылся там, как мышь.

Тем временем вышибли дверь. В избу ввалились какие-то люди. У двоих горели в руках факелы. Пламя высвечивало скуластое лицо казака. Ипатьев разглядел нос с горбинкой, бороду, тронутую проседью, в глазах недобро отражались огни факелов.

Капитан помнил сказанное полковником.

— Прочь! — шагнул он навстречу.— Я князь Долгорукий.

— Ты нам и нужон,— глухо проговорил казак.

— Кто ты? — уставился на него Ипатьев.

— Кондрат Булавин. Ты, князь, хотел со мной свидеться. Пошто, скажи?

Не из робкого десятка был капитан.

— А вот пошто. Получай! — Он поднял пистолет. Выстрелил.

Пуля сшибла с Булавина трухменку. Атаман провел рукой по голове:

— Благодарствую.— Выдернул саблю.— Долг платежом красен. Получай и ты.— Булавин с силой рубанул капитана наискось от плеча.

Наутро один из местных жителей — новопришлый, а потому битый кнутом по приказу Долгорукого — хотел было взять на сеновале сена. Он поворожил с краю вилами и вдруг увидел торчащий сапог — новый, добротного покроя.

«Офицерский! — удивился мужик.— Ишь, куда упрятан. А ежели второй сыщу?..» — Он взялся за сапог, чтобы отложить его в сторону, но тот вдруг дернулся, сено зашевелилось, и перед глазами ошеломленного мужика предстал полковник Долгорукий.

— Да хто ж ты есть...— забормотал мужик, пятясь и не отводя взора от облепленного сеном человека.

Полковник схватился за пистолет, но вдруг охнул и затрясся, как лист на ветру, разглядев в мужичонке, стоявшем перед ним, того самого русоголового, который давеча был повешен.

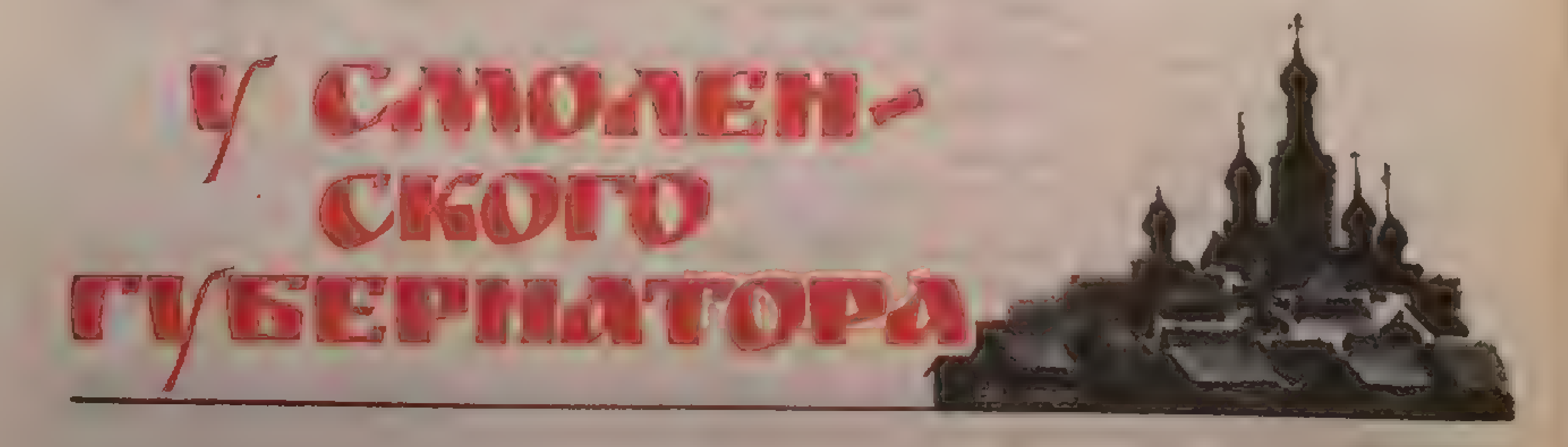
— Свят, свят...— стучал зубами полковник.

Клочья сена с него так и посыпались.

Тут уже и русоголовый, со своей стороны, признал Долгорукого.

— Супоста-а-ат!..— с придыхом произнес мужик, подхватив вилы наперевес.— А-а-а...— закричал он и с неожиданным проворством ударил вилами в живот полковника.— За брата маво соутробного[1], за Гришатку...

Ноги у полковника подкосились, он падал, скрючившись и предсмертно хрипя. В глазах темнело, и единственное, что доходило до него и даже заглушало жгучую боль, был надрывный, неотвязный крик: «Ироды... ироды...»



У смоленского губернатора

Об истинной смерти своего брата полковника майор Долгорукий узнал значительно позже. Узнал — и ладно.

Зато у смоленского губернатора майор получил такие известия, от которых в его жизни все тотчас же переменилось.

[1] Соутробный брат — близнец.

В руки князя Василия было передано письмо от государя, где Петр сообщал, что нынче «есть нужда быть доброму командиру на Украине», а потому приказывал майору Долгорукому выступить, «не мешкав», из Москвы во главе целого войска. Восстание Булавина он сравнивал с огнем и требовал «сей огонь» поскорее «утушить».

В письме было указано, что майор Долгорукий получит в свое распоряжение пять полков. Кроме того, для него выделялось четыреста драгун из Воронежа, а также конные — «сколько возможно сыскать на Москве» — дворяне.

Заканчивалось письмо повелением «жечь без остатку» все донские городки, население которых заодно с восставшими. Самих же булавинцев царь приказал «рубить». Он писал, что лишь жестокостью можно отбить охоту к воровству.

Смоленский губернатор внимательно смотрел на князя, читающего письмо, и не мог понять, ко благу или не ко благу для себя вскрыл майор присланный от государя пакет. Когда Долгорукий в сопровождении драгун прибыл в Смоленск, вид у него был незавидный — понур, в глазах беспокойство, шаг нетвердый, словно к плахе следовал. Прямо хоть заранее бери под стражу. Но в то же время письмо от государя прислано ведь на имя Василия Долгорукого, а не на чье-либо. И письмо длинное, значит, царь обдумывал его, а не просто повелел что-то единым росчерком пера.

Прочитав, майор расстегнул пуговицу мундира, опустил руку с письмом, вновь приблизил бумагу, повторно заскользил глазами по строчкам. «Так, так», — проговорил губернатор про себя и замер в ожидании. Майор поднял голову. Лицо выглядело задумчивым, но от растерянности, которая только что была на нем, не осталось и следа. Меж бровей резко обозначилась властная складка. «Э-э, батенька мой, — подумал проницательный губернатор, — да ты, видать, в силе». И, чувствуя, что Долгорукий не торопится раскрыть рот, спросил:

— Как всемилостивейший государь наш Петр Алексеевич, здоров ли?

Майор мысленно увидел фигуру Петра: в треугольной шляпе, в ботфортах выше колен, торопливо отмеряющего сажени длинными ногами. За ним поспешает армейская свита: вездесущий Меншиков, Брюс, Репнин... Да разве угонишься за государем?

Особенно тяжело Шереметеву — годами постарше всех, телом дородный. А поодаль стоят, глазеют на Петра драгуны, рейтары, инфантерия, казаки...

И вдруг майор отчетливо понял, почему царь лишь здесь, в Смоленске, уведомил его о том, для чего надобно ехать в Москву. Истинно, Петр не хотел, чтобы в армии пошли слухи о донских бунтах. Ведь еще недавно Меншиков распорядился, чтобы в казачьих отрядах на время отобрали лошадей: опасался, как бы не подались казаки из армии на Дон. А ныне пожар там, судя по всему, разгорелся превеликий...

— Здоров ли, спрашиваю, государь наш? — донесся вкрадчивый голос губернатора.— Тебе, князь, может, о том вестимо?

— Не ведаю. Дай-то бог ему здоровья! — И, понимая, что губернатора интересует прежде всего содержание письма, добавил: — А письмо сие государственных дел касаемо. Задерживаться у тебя не буду. Вели подать мне до Москвы карету.— Долгорукому захотелось проследовать оставшуюся часть пути с удобствами, чтобы обо всем хорошенько подумать.— И дай мне новых драгун в сопровождение, а моих вели выпороть.

— Выпороть? — переспросил губернатор. Не ослышался ли?

— Да, выпороть, а потом отправь назад в армию.



ЧЕРТОВЫ ВОЯКИ

1

Пока лошади несли возок новоиспеченного военачальника в сторону Москвы, к государю одна за другой поступали тревожные вести с южных земель.

Случалось, секретарь Макаров даже не решался сообщить

Петру разом обо всех новостях, доставленных с гонцами и курьерами: не хотел гневить государя. Уже не только бушевали булавинцы на Дону. Поднялись казаки на реке Яике и на Днепре. Неспокойно было в Поволжье и на Тереке. Волновались мужики в уездах Тамбовском, Воронежском и Козловском. Восставшие грозились захватить Воронеж и пожечь спущенные на воду корабли...

А вот опять известие с Дона. Кабинет-секретарь, предчувствуя недоброе, подержал письмо в руках, но — куда денешься! — медленно вскрыл конверт. А прочитал бумагу — резануло, будто ножом по сердцу: вор Булавин разбил войско Максимова под городком Красная Дубрава.

Секретарь представил, как доложит он Петру о сей грамоте, и как побледнеет лицо государя и задергается левый ус на круглой щеке, и как будут таращиться — упаси, господь,— красноватые белки глаз... И не доложить нельзя: такие вести отлагательства не терпят. Но сегодня Петр Алексеевич пребывает, кажется, в благоприятном расположении духа: наконец-то побывал после ледохода на любимой Адмиралтейской верфи, осмотрел строящиеся корабли, сам топором намахался, кровь разогнал. К тому же Петру понравилось, как по его приказу обрядили на голландский манер — в короткие сапожки, юбки и шляпы — трех племянниц, которых он вызвал из Москвы в Петербург для морских катаний. И это была не причуда государя. «Я приучаю семейство мое к воде,— объяснял он,— чтоб не боялись впредь моря и чтоб нравилось им положение Питербурха, который окружен водами. Кто хочет жить со мною, тот должен часто бывать на море».

Да, Макаров хорошо знал, что для Петра, сделавшего Россию морской державой, ступить на палубу всегда было праздником. Уж кто как не кабинет-секретарь, постоянно бывший при царе, слышал от него не раз: для человеческой жизни надобен хлеб, тако же для России — море. Петр только о том и пекся, дабы государство его шло вровень с Европами, а то и вперед скакнуло, дабы в лондонах, парижах и амстердамах, глядя на Россию, зубы не скалили: темная, мол, скудная да вшивая страна. Потому так и лелеет он свое детище — город, возводимый с муками и страстью на Неве,— считает его главными морскими воротами. Потому и со шведом столь долго воюет, дабы оставить

за Россией выход на балтийский берег. Уж скольких мужиков извела петербургская стройка: мрут как мухи от голода, холода и разной хвори. Чем не каторга... Сколько солдат пало в баталиях со шведами. А все — ради моря, ибо без него не быть России. Да и сам-то Петр Алексеевич вон весь в работе. Бывает, не ест, не спит, глаза колючие, дикие. И так длинный, а похудеет да осунется — верста ходячая. Чем жив только?.. Но все неймется ему, не сидится на месте. Мотается по городам и странам. Верхом ли, в дорожном возке. От него и порохом несет, и смолой сосновой. Как же — в руке то шпага, то плотницкий топор. Где уж тут пузо отъесть, подобно боярам московским. Ноги бы не протянуть. Болеть стал часто...

Прочитав поданное Макаровым письмо, Петр заметался по комнате, точно зверь в клетке. Два раза наткнулся бедром на угол стола, озлясь, пнул его так, что стол развалился.

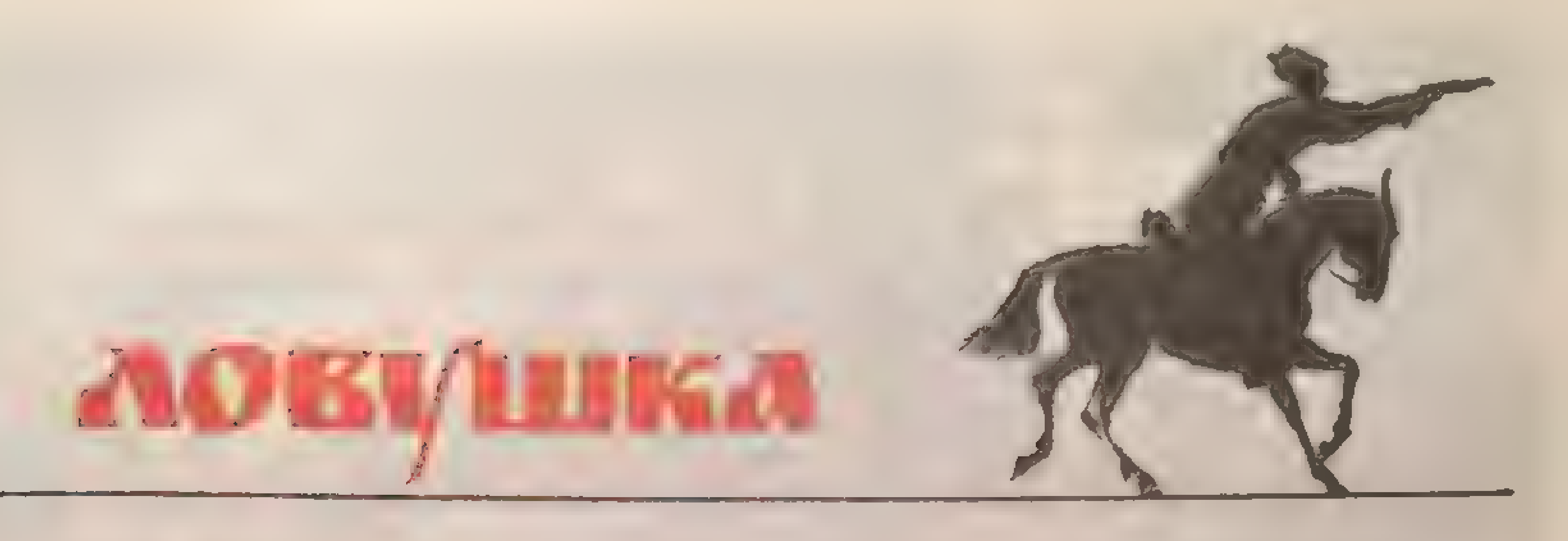
— Чертовы вояки! — кричал на ходу царь.— Как изволишь понять — Кондрашка погнал атамана Максимова?! Так-то несет службу Войско Донское! Понабиралось там — вор на воре. За что им деньги плачу? И еще скулят: жалованье, мол, прибавь... Тунеядцы захребетные! Беглых укрывать они умеют. «С Дону выдачи нет» — чего удумали! Дармовые руки им надобны, доподлинно знаю. Потому и прячут беглых. А я ни работных людей, ни солдат в достатке не имею. Ладно же, воры, Долгорукий с вами управится.

В Долгорукого царь верил: офицер боевой, многоопытный. Но и сама фамилия — Долгорукий — устрашать станет: старший брат постарался на то изрядно. Молва о жестокостях полковника была сейчас на руку.

Помимо прочего, царь посчитал, что будет на пользу распространить на Дону слух, якобы он, Петр, движется туда с войском.

Об этом он написал майору в Москву и поторопил его скорее выступить в поход, а упоминая о Булавине, предупредил: «Смотри неусыпно, чтоб под Азовом и Таганрогом оный вор чего не учинил прежде вашего приходу».

Петр писал письмо яростно: ломал перья, по бумаге сыпались чернильные брызги.



ЛОВУШКА

1

Над булавинским лагерем стоял гомон. Подгулявшая голытьба собралась у костров, где булькало в казанах варево — мужики ели, о чем-то спорили, гоготали. Где-то гремели песни и свистели сопелки, откуда-то доносился собачий лай и стук топора, кто-то в пляске гикал и выкрикивал: «Ух, ты!.. Ух, ты!..», пускаясь вприсядку или вертясь волчком. Все звуки перемешались, перепутались...

Разбив Максимова, булавинцы нашли в захваченном обозе много припасов, заготовленных домовитыми, да еще несколько телег с порохом и пулями. Кондратий Афанасьевич особенно был рад трем походным пушкам, их тоже взяли в последнем сражении у Красной Дубравы.

— С пушками от кого хошь отобьемся, — говорил он, — теперь нам и черт не брат.

— У Максимова пушек-то еще вдосталь, — заметил Иван Лоскут.

— Доберемся и до тех. — Булавин потеребил бороду. — Хвост московскому прислужнику прижали, за головой черед. Кабы людей нам поболе.

— На Черкасск, что ли, хошь ударить, а, Кондрат? — спросил Семен Драный, плосколицый, длинный казак, примкнувший к Булавину с крупным отрядом голутвенных станичников. — А то на Воронеж веди. Малость погостюем и до московских бояр подадимся. С Воронежа на Москву дорога прямая.

— Верно гуторит, — вставил слово есаул Ананьин. — Приберем Воронеж в свои руки. А там... — Он весело подмигнул. — По прямой дороге да с кривыми саблями, эх-х!.. Порубим каж-

дого, кто супротив сунется.— Говорил, а сам думал: дай-то, господи, чтобы поймался Кондрат на приманку, неужто не клюнет?

— Смел ты,— взглянул на него Булавин,— саблей махать. Да уразумей, что и нам головы не сносить, коли двинем малыми силами. Где у нас оружие?.. А лошади?.. Мужиков привалило вон сколько, и все пешие. Ни пик, ни сабель, ни огненного бою. С топорами пришли да косами, а кто и вовсе с дубиной. Нешто войско?

Разом откликнулось несколько человек.

— Не войско?.. А Максимову пятки прижгли — побег без оглядки!

— На Азов идти надобно. Азов захватим — оружием разживемся.

— И зелья[1] там целые горы.

— И людишек наберем — в Азове полно ссыльных стрельцов и колодников. Они за нами с охотой пойдут.

Ананьин хоть и не шумел больше, но казакам, что были возле него, то и дело внушал:

— От бояр все зло и от немцев[2]. Надобно на Москву двигать.

— Дозвольте я скажу,— подал голос Иван Лоскут и натужно закашлялся.

Все притихли, дожидаясь, пока сухой жестокий кашель не выплеснулся весь из старого разинца.

Старик Лоскут был высок и худощав, с прямой спиной,— когда он шел, чудилось со стороны, будто шест вышагивает. Седые длинные усы его висели понуро, да и нос с небольшой горбинкой оттянулся книзу. Рот у старика был всегда полуоткрыт, и все видели черную щербатину под верхней губой — вышибли Ивану зуб в молодости в одном из походов.

Когда Булавин разговаривал с Лоскутом, то всегда глядел на его щербатину. Почему-то она казалась Кондрату озорной. Да и стариком-то разинец был лишь с виду. Билась в нем какая-то дьявольски живучая, шустрая жилка — ни годы ее не брали,

---

[1] Зелье — порох.

[2] Немцами простой народ называл всех иностранцев, приехавших в Россию служить царю.



ни беды. На коне Лоскут до сих пор скакал так, что и молодым не угнаться, саблей лихо рубился, из ружья стрелял без промаха.

— Ладно ли, атаманы,— откашлявшись, заговорил Иван,— прошибать лбом стену?..— Он не спеша окинул взором казаков.— Молчите... Может, кто думает: спятил, дескать, старый. Как с детьми малыми разговор повел. Да, повел. Понеже кой-кто из вас дитю неразумному подобен. На Москву-де идти надобно. А с чем пойдем — с дубинами да косами? Как город брать будете?.. Али, мните, бояре вам ворота пораскрывают — заходьте, мол, ждем давно. Ешьте, пейте, добро забирайте. А на плаху, мол, мы сами ляжем, шею вытянем, извольте лишь топор поднять. Нет, атаманы, покамест негоже нам от донской земли уходить да еще оставлять здесь Лукьяна Максимова. Верно ли я говорю, Кондратий?

— Истинно,— не сразу ответил Булавин.— Да и тех понять можно, кто на Москву рвется. Только с голыми руками на бояр не пойдешь. Стало быть, оружие, что в Азове уготовлено, надобно захватить. Но как на Азов подаваться, коли позади останется Черкасск с врагами лютыми — с Максимовым и старшиной? А потому прав Иван — негоже нам к врагу спиной повертываться. Небось, помнит Лоскут, как при Разине со спины накинулись изменники. Сказ мой таков: сперва надобно взять Черкасск. Побьем там старшин и Луньке-злодею вернем должок — мало ли он добрых людей погубил. Потом путь наш на Азов и Троицкое, а оттуда обещаю повести вас в иные города бить притеснителей. Наступит и для Москвы свой черед.— Булавин встал с места.— И я клянусь быть с вами до последнего часа.— Он выдернул из ножен саблю.— А ежели я отступлюсь и не исполню слов своих, пусть мне отсекут голову.

2

Утром к Булавину пришел Ананьин. Переступив порог, он поздоровался и замер, увидев, что у атамана сидел за столом Лоскут, а перед ними высилась гора печеной рыбы да стоял кувшин кваса.

— Ты что? В ногах правды нет. Садись с нами.

— Я, Кондратей Офонасьич, к тебе по делу шел. Ладно-ть, потом уж... Ешьте покойно, хлеб да соль вам...

— Говори.

— Дело-то, может, неспешное.— Ананьин покосился на старого разинца.

— Чего мнешься? Али при полковнике моем рта открывать не хочешь? — нахмурился Булавин и приказал: — Выкладывай! Лишних ушей здесь нет.

— Как же, как же,— залебезил Ананьин,— вестимо, нет... Дело-то вот какое... Человек наш... Федькой его кличут... сказывает, нашел в овраге две пушки, не знаю токмо...— Есаул запнулся.

— Чё не знаешь?

— Надобны ли? Пушки-то, говорит, много тяжельше наших. Глянуть бы.

— Ступай глянь.

Ананьин молча переминался с ноги на ногу.

— Я ить...— Он вперил взгляд куда-то в угол.

— Да ты что, будто язык проглотил,— не выдержал Булавин.

— Толку в них не ведаю,— выдавил через силу Ананьин.

— В каком, говоришь, овраге? — поднялся с места Булавин.

— Да тут в двух верстах за рощей.

— Поехали, я гляну.— Булавин снял со стены саблю, сунул за пояс пистолеты.— Дело недолгое.

— И то верно! — оживился Ананьин.— Человек ждет на базу, покажет. Зараз втроем и слетаем.

— Я с вами.— Встал со скамейки Иван Лоскут. Тоже взял саблю, а пистолеты всегда были при старике, с ними он даже спать ложился.

И опять будто окаменел Ананьин. Лишь глаза его блуждали по углам избы — чего выискивали, за что зацепиться хотели?

Было с чего беспокоиться есаулу. Не пушки показывать собирался он ехать к оврагу. Шестеро максимовцев дожидались Кондрата в роще, чтобы напасть на него, повязать и доставить в Черкасск. За поимку Булавина были обещаны деньги неслыханные — тысяча рублей. Максимов уже не раз присылал своих людей и требовал поскорее «схватить Кондрашку, дабы пресечь на Дону зло». Ананьин, находясь при Булавине, видел, что вой-

ско повстанцев росло с каждым днем. Голытьба валила не только с верховых новорубленых городков, но и с нижнего Дона, где беглые было прижились в стародавних станицах среди домовитых казаков. А многие хотя и не шли к Булавину в отряды, но ждали с нетерпением. Неспроста он по-прежнему рассылал письма людям «всех рек»[1]. Ананьин сам был вынужден царапать пером со слов Булавина: «Всем быть в готовности, а пришлых с Руси беглецов принимать со всяким прилежанием и против обыкновения с них деньгами и животом не брать для того, чтобы больше беглецов шло». Скрепя сердце писал Ананьин эти слова. Он и рад был бы поскорее расправиться с Булавиным, да случай не представлялся. И вот сейчас, казалось бы, ловко придумал он, как заманить Булавина, так нет же, увязался Лоскут. Конечно, те шестеро, да еще он, Ананьин, с напарником — силы против двоих немалые, но все же боязно было есаулу участвовать в нападении на атамана и старика-разинца.

Пока ехали к оврагу, Ананьин все прикидывал, как же поступить. По уговору он должен был в середине рощи, где дорога раздваивалась, наставить на Булавина пистолет: не двигайся, мол; напарник связал бы атамана веревкой, а выскочившие из-за кустов максимовцы уволокли бы схваченного к оврагу, и потом, уже ночью, все ушли бы в Черкасск. «Пожелай Максимов заполучить булавинскую голову, насколько было бы проще, но ведь он требует Кондрата живьем. Как содеять такое? — сокрушался Ананьин.— Нет уж, коли Лоскут сюда встрял, беру на себя старика, а с Булавиным пусть Федька справляется...»

Улучив время, он так и шепнул напарнику.

— Добро,— кивнул Федька.

— Как пистолет наведешь, кричи громче: стой, мол, воровская рожа. Я хлопну старика. А тут казаки подоспеют, разом навалятся.— Он сжал напарнику локоть.— Чу, атаман рядом. Нишкни...— Затем нарочито погромче спросил, подождав, когда Булавин приблизится: — Скоро, что ль?

— Почитай, приехали,— ответил Федька, внимательно глядя на дорогу.— Малость осталася.

— Пушки легко сыскать? — спросил Булавин.

— Куда легче, Кондратей Офонасьич! — Федька шнырял

[1] То есть тем, кто поселился на Дону и его притоках.

глазами по придорожным кустам.— На самом виду лежат... с краю. Пушки-то новые, да...— Так и не закончив, он поехал молча, но вдруг, развернув коня, заорал, почти уткнув пистолет в Булавина: — Стой, пес бродячий, застрелю!

Ананьин замешкался: рука стала почему-то как пудовая, не слушалась. Лоскут же с невероятным проворством выхватил саблю и обрушил на Федьку такой удар, от которого тот упал замертво.

Из рощи, как и было задумано, уже летели всадники. Они разделились на равные части. Трое выскочили спереди, чтобы ударить в лоб, трое других заходили сзади, отрезая путь к отступлению.

Есаул приободрился: все же максимовцев было достаточно, чтобы одолеть двоих. Правда, в какой-то миг он подумал: «Столько бы еще — в самый раз было бы... А моя-то рука до сих пор как чужая, шевельнуть не могу... Ништо, без меня управятся...» И тут, к своему ужасу, лазутчик увидел, что оборачивается все по-иному.

Булавин и Лоскут грянули из своих четырех стволов, и половина нападающих оказалась на земле. Еще двое пали под их саблями. Последний ринулся через кусты прочь. Есаул сидел в седле ни жив ни мертв.

— Держи, Ананьин! — крикнул атаман.— Взять надобно.

Лазутчик понял: не все потеряно, на него пока что не легло подозрение, небось, думают, заманил их в засаду Федька.

— Ананьин, черт... держи!..

Есаул вздрогнул: он был ближе всех к уходящему максимовцу, потому и кричит Булавин, не дай, мол, скрыться. Но если максимовец будет пойман, ведь выдаст его, Ананьина. Нет, надо упустить его. Погнаться, но упустить. А если другие поймают и приведут к Булавину?

Гикнув, есаул сорвался с места. От бешеной скачки рябило в глазах или от страха?.. Кусты, деревья, земля под ногами лошади — все слилось в нечто расплывчатое, неясное, и только впереди мелькало темное пятно — всадник, припавший к гриве.

Роща кончилась. Теперь они скакали по открытому полю к балке, поросшей по краю редкими кустами. Оглянувшись, максимовец увидел, что его преследует лишь один — свой. В кустах он придержал лошадь.

— Ушли? — бросил он подъехавшему Ананьину.

— Ушли, — дико взглянул на него есаул. — А там ктой-то? — кивнул он в сторону.

— Где? — оглянулся казак.

Ананьин выстрелил ему в спину. Затем, соскочив с седла, он подбежал к убитому, вытащил у него из-за пояса пистолет и разрядил в собственного коня. Отчаянно мотнув головой, тот вскинулся на дыбы, но по задним ногам вдруг словно кто-то ударил, они подкосились, и конь рухнул перед хозяином.

Когда подоспел Булавин, конь еще слегка прядал ушами, но его выпученный лиловый глаз смотрел в небо уже с безучастной мертвенностью.

Кондрат спешился, подошел к кусту, возле которого лежал максимовец. Перевернув, долго вглядывался в смуглое заросшее лицо.

— Пошто последнего убил?

— Дак ушел бы. Коня вон подо мной завалил.

— Ладно. Поехали назад.

«Пронесло, слава богу», — думал Ананьин, переседлывая чужую лошадь.

По дороге к ним присоединился Лоскут, сказал, что осмотрел весь овраг, пушек нигде нет. Потом предложил:

— Может, еще глянем вместе?

— Чего там, — отмахнулся Булавин. — Заманили нас, ровно кутят.

3

Двигаясь тропой, они услышали тонкие, переливчатые звуки свистелки. А через некоторое время увидели сидящего чуть поодаль от дороги оборванного старца с мальчонкой-поводырем. Он-то, мальчонка — голубоглазый, с шапкой белесых, выгоревших волос, — и наигрывал что-то светлое, одновременно земное и неземное, как трель жаворонка.

— Куда путь держишь, батька? — Остановился вдруг атаман, будто ему важно было знать это.

— Недалеко уже. Булавина хотел глянуть.

— На что тебе?

— Слыхал я, за нашу правду он вступился.



— И что? — усмехнулся Булавин.— Никак, пойти с ним удумал?

— Куды мне! Говорю — глянуть бы.

— Гляди, старик, ежели надобно. Я на него, сказывают, похож.

— Понапрасну-то не городи, мил человек. А на тебя мне смотреть негоже: слеп я.

— Пошто ты гуторил — глянуть, мол, хошь?

— Хочу. Токмо не очми. Нутром своим я ныне свет ведаю.

— Как же ты Булавина нутром узришь? — Кондрат рассматривал спокойное лицо старика.

— А просто. Побуду при народе, когда он речь поведет, с меня и хватит. Почитай — увидел.

— Ишь ты! — широко улыбнулся Булавин.— Нутром! А скажи, старик, которую правду ты нашей зовешь?

— Мужицкую, вестимо, мил человек.

— Нешто есть такая правда? — прищурился Кондрат.

— Послушай, скажу я тебе, как Булавин с царем спор держал.

— Ну-ну! — Атаман потеребил бороду.

Старик повернул лицо в его сторону, но глаза — светлые, по-детски незамутненные — он уставил мимо Булавина, куда-то вдаль, будто видел все то, о чем собирался рассказывать.

— Призвал царь Петр к себе Булавина и спрашивает: «Ты пошто, Кондратей, народ волнуешь?»—«За правду стою, Петр свет Алексеевич».—«Дак и я за правду. Иди ко мне служить, дам тебе два полка солдат».— «Нет, батюшка-царь, не пойду. Ты за одну правду стоишь, а я — за другую».—«За которую? — спрашивает царь.— Правда вся одна».—«Не изволь гневаться, Петр свет Алексеевич, а вели позвать боярина и мужичка да спроси о правде». Приходит боярин. Царь ему: «Скажи, в чем твоя правда?»—«В том, царь-государь, чтобы жилось подобру».—«А твоя правда?»— спрашивает Петр мужика. «И моя правда, чтоб жилось подобру».—«Видишь,— говорит царь Булавину,— правда одна».—«Погоди, царь-батюшка,— отвечает казак Булавин,— дозволь я спрошу. Скажи, боярин, когда твоя жизнь подобру выходит?» Отвечал боярин: «Когда угодья мои большие и людей на них много. Когда мужики хлеб посеют, соберут, обмолотят, мне в амбар свезут».—«А твоя?»— спрашивает Була-

вин у мужика. «Коли я хлеб своим потом полил, да горбом взрастил, отдай его мне — вот и будет моя жизнь подобру».— «Чего захотел! — напустился на него боярин.— А мне что ж, без хлеба сидеть?» — «Пошто сидеть? Иди в поле,— отвечает мужик,— пузо-то вон какое отсидел». Царь посмеялся над боярином, а опосля говорит мужику: «Эдак ты и меня от государства оторвешь да к сохе поставишь».— «С тобой, царь-батюшка, мы хлебом-то поделимся»,— поклонился мужик. «И на том спасибо,— кивнул ему Петр,— ладно, ступай». Мужик и боярин ушли. «Вишь,— говорит Булавин,— выходит, две правды есть. Боярская да мужицкая. Но сколь много в твоем государстве бояр и мужиков? Бояр — горсть, а мужиков — тьма. На что тебе толстобрюхие? Против нас они — что малый палец против руки. Потеряешь один палец, топор четырьмя удержишь. Потеряешь четыре — глядишь, обезручил». Царь ему так отвечает: «В нашем споре за тобой верх остался. А бояр ты не тронь. Я с ними сам управлюсь. На́ тебе неразменный рубль. По нему ходи во все шинки смело. Гуляй сколь хошь, а как за порог вышел, он с тобой сызнова будет». Вот и весь сказ.

Булавин поправил на голове трухменку.

— Гладко ты сказываешь, старик.

— Все как было.

— А ежели не было?.. Ежели не ездил Булавин к Петру?

— Ездил... И спор держал.— По лицу старца пробежала тень, дрожащей рукой он нащупал подле себя посох.— Аж внучок мой знает. Минька, скажи.

— Ездил,— робко, но внятным голосом повторил за стариком мальчонка и с настороженностью посмотрел на всадников.

— Минька, надень мне суму. Идти надобно.

— Погодь, старик... Плохо ты своим нутром видишь. Я — Булавин. Про себя мне лучше знать, ездил али нет.

Старец молчал, но вот губы его шевельнулись:

— Ездил...

Булавина взяла досада: упрямый бродяга, ему хоть кол на голове теши, а он свое.

— И не говори, будто всяк свою правду имеет! — Кондрат повысил голос.— Нет такой правды — мужицкой, боярской либо купеческой. Правда есть одна. Как солнце, что светит, как огонь, что жжет, как вода, что льется, как хлеб, что кормит. Одно дру-

гим не подменишь. У людей одна правда есть — воля, все другое — кривда.

Старик по-прежнему смотрел куда-то через Булавина невидящим взором. «Полно распинаться перед ним,— остановил себя атаман.— Поди, не понял он ничего».

— Правда мужицкая есть,— произнес вдруг старик.— Скажи, Минька.

— Есть...— слабым эхом отозвался поводырь.

Старик встал. Он оказался не высок, не низок, худ — рубище на нем так и висело. Он стоял согбенно, вжав голову в острые плечи. Посох под его рукой мелко дрожал. В то, что повстречал Булавина, он не верил. Кто они, появившиеся невесть откуда всадники? Чего ждать — удара ногой ли, саблей? Рядом также понуро стоял мальчик.

— Перекрестись,— сказал ему старец.

«За свою правду приготовились принять смерть»,— подумалось Булавину.

— Эй, малой,— проговорил он,— посмотри на меня, запомни. Придет время, скажешь деду, кого встретил. А тебе, старик, даю рубль. Он такой же неразменный, как Петров. Проверь, опосля скажешь.— С этими словами он подал мальчонке рубль.

— Дед,— зашептал Минька,— истинно дал... В руке держу.

— Спаси тя господь, мил человек...— так же тихо промолвил старец.— Минька, сыграй добрым людям.

Мальчик взял в рот свистелку, и опять заструились, поплыли куда-то грустные переливы.

— Ты, старик, не иди на Красную Дубраву. Булавина там не застанешь. Бери на Черкасск.— Кондрат тронул коня.

Они ехали шагом, и позади еще долго слышались звуки нехитрой свистелки.

— На каждого нищего рублей не напасешься, Кондратей Офонасьич,— нарушил молчание Ананьин.

— Что рубли! За мою голову Максимов, сказывают, большие деньги сулит. Повезет же кому-то.

— Нынче шестерым уже повезло,— засмеялся Лоскут.

Есаул тоже попытался выдавить из себя смех.

Булавину было невесело. Такую же липовую свистульку не раз делал он Миките. Атаман вслушивался в игру маленького поводыря, а воспоминания о жене и сыне скребли до боли душу.

ПОТРЕВОЖИЛИ

1

Над Черкасском стояла тишина. Город спал. Лишь караульные возле ворот и дозорные на высоких стенах не смыкали глаз, дожидаясь утра, а стало быть, и смены.

Ночь выдалась теплая, безветренная. Когда выныривала из-за облаков луна, Дон походил на огромную змею, которая нескончаемо ползла и ползла к морю, поблескивая серебряной чешуей.

Казалось, ничто в такую спокойную ночь не должно потревожить караульных, так нет же, появились у ворот двое всадников, принялись колотить в ворота:

— Эй! Отворяй скорее...

Караульные какое-то время не обращали на это никакого внимания: ночью ворота полагалось держать закрытыми, в город пропускали, когда начинало светать. Но стук снаружи усилился, и стражи нехотя зашевелились.

— Чё шумишь?.. До утра жди.

— Отворяй, говорят... Сонные тетери...

— Я те отворю палкой по спине.

— Что?! Басурманский сын! Отворяй живо!

— Отвали от ворот,— лениво процедил сквозь зубы стражник,— чтобы духу твоего не было.

Чем-чем, а руганью караульных казаков удивить было нельзя: давно привыкли. Но у тех, кто был снаружи, терпение, видно, лопнуло...

— Не откроешь, пес цепной, велю тебя завтра высечь да шкуру спустить.

«Велю»— это уже не походило на обычную перебранку.

— Васька,— крикнул один из караульных дозорному, который торчал на вышке,— глянь, кто там шумит!

— Двое. Верхами.
— Боле никого?
— Одни.

Караульные загремели засовами. Все же спросили, прежде чем вынуть последний:

— А кто вам надобен?
— Войсковой атаман.
— Спит, поди.
— Разбудим.
— Сами-то откуда?
— От майора Долгорукого.
— А Максимов пошто?
— Отворяй, не твоего ума дело...

При свете факелов караульные рассмотрели, что не только лошади, но и всадники были в грязи,— небось, и впрямь мчались, не разбирая дороги.

О давешней перебранке никто не вспоминал, будто ее и не было вовсе. Расспросив, как проехать к Максимову, ночные пришельцы ускакали.

У войскового атамана они тоже переполошили весь дом. Лукьян Максимов хоть и досадовал, что подняли его с постели средь ночи, а все ж распорядился, чтобы гонцам Долгорукого согрели воды — смыть дорожную грязь, принесли чистую одежду и, наконец, подали по куску холодной свинины да по штофу водки. Как-никак прибыли гонцы от человека важного — Долгорукий со своими полками появился на Донской земле по приказу самого царя Петра Алексеевича.

Правда, письмо, привезенное Максимову, не доставило добрых вестей. Майор сообщал, что Булавин выступил походом и движется вниз по Дону. Долгорукий требовал, дабы войско Максимова, не дожидаясь приближения «вора» к Черкасску, вышло навстречу.

О булавинском наступлении Лукьян знал и без княжеских гонцов, а выйти навстречу он не мог: после поражения на Красной Дубраве еще не собрался с силами.

Едва Максимов заснул после пустого разговора с гонцами, как вновь был разбужен. На этот раз появившийся у него человек принес важные сведения. Он рассказал, что казаки ближних к Черкасску станиц решили пропустить Булавина без боя.

— Верно ли знаешь? — насупился войсковой атаман.

— Своими ушами слыхал.

— От кого?

— Круг собирался. На кругу за Булавина все голутвенные стали. Кондрашка, вишь, подговорил.

— Чего обещал?

— Известно. Бей домовитых, а я, мол, в обиде вас не оставлю.

— Сам, что ль, заявился?

— Людей присылал с письмами. Ну, я пойду. Негоже, чтоб меня здесь видели.

Оставшись один, Максимов снял со стены пистолеты, проверил, заряжены ли. Подумалось: того гляди, Булавин и сюда подошлет своих...

Войсковой не находил себе места. До чего дошло, даже ночью не дают покоя, будят: Булавин... Булавин... Опять Булавин... У Лукьяна гневно задергалось веко. Мог ли он раньше предположить, что какой-то казак из Трехизбянской станицы будет для него словно кость в горле? Кто бы мог подумать, что Булавин соберет свое войско?..

Максимова вновь передернуло. Вскочил, зашагал по комнате. «У Кондрата — войско?! Всякий сброд, а не войско. Беглое мужичье и прочая голь перекатная. Им покажи плетку — в три погибели согнутся. Куда им против нас! — кипятился Лукьян. — Да мы по такому войску ударим — пух полетит, как от курей...»

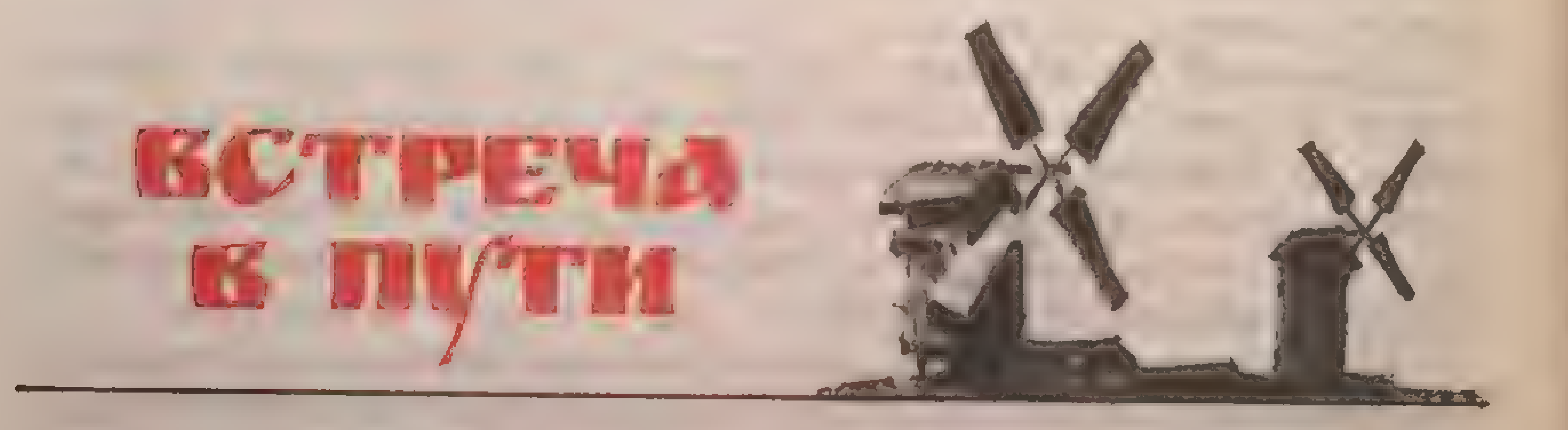
И вдруг на атамана словно ушат воды вылили — опомнился. Сел на скамью, поник. Что это он размечтался? Ведь нынче все как в дурном сне. Все будто перевернулось, стало с ног на голову. Давно ли он разбил булавинцев возле Законтного и послал царю о том донесение? Давно ли обещал кучу денег за поимку Кондрата? А нынче Булавин с отрядами близится к Черкасску. Отовсюду идет к вору пополнение. Как же, летит по свету молва: вступился-де Кондратей за всех сирых и обиженных...

Лукьян налил чарку чесночной водки, к которой обычно прибегал при хвори. Но иного под рукой не было, а звать никого не хотелось. Выпил, утерся рукавом. Нет, нет, нельзя падать духом. Не все потеряно. Князь Долгорукий движется на подмогу. Поди,

покрепче своего брата — сказывают, шведов бил. А пока можно отсидеться за стенами, ежели мятежники подступят. Ближним станицам, что хотят пропустить Булавина, можно пригрозить: не будете вести огонь по ворам, станем обстреливать вас. На городских стенах ни мало ни много — сорок пушек. Пороху запасы великие, ядер не счесть. Надобно с утра пораньше послать людей, чтобы передали станичной голытьбе предупреждение.

И еще думал Максимов, что в самый раз припугнуть бы покрепче Кондрата. Уймись, дескать, а то никогда не увидишь жены и сына — казнят их.

С такими мыслями войсковой атаман попробовал лечь и уснуть, да сон никак не шел.



ВСТРЕЧА В ПУТИ

1

На грозное предупреждение Максимова в станицах откликнулись. После долгих пересудов было решено послать два письма. Первое в Черкасск: не сумлевайся, мол, батько атаман, сохраним тебе верность. Коли придет Булавин с отрядами, встретим огнем. Второе письмо отсылалось совсем в другую сторону. Доставить его взялся один из станичных атаманов — Кожин. Оно было особой важности, а потому доверить это письмо могли наипаче надежным. Предназначалась бумага для самого... Кондрата Булавина.

Кожин выехал из станицы затемно, до первых петухов, стараясь никому не попадаться на глаза. За околицей он пустил лошадь налётом. Но взял не по дороге — мало ли кого встретишь,— а берегом реки, благо места были ровные и знал он их хорошо: у станичников по этому краю долго тянулись покосы.

С Дона налетали порывы холодного ветра, он шумел в прибрежных вербах и зарослях терновника, где-то в густом камыше кричали утки.

Когда рассвело, Кожин был уже далеко от своей станицы и теперь ехал по дороге, не опасаясь расспросов, куда, мол, и зачем. Больше всего он не хотел встречаться со знакомыми. Поди разбери, что у них на уме. Еще до недавнего времени было ясно как день: домовитые стоят за Максимова, голутвенные — за Булавина. Но теперь, когда Кондрат разбил войскового атамана и двинулся на Черкасск, все переменилось. Многие среди домовитых почуяли — слабеет максимовская власть. Долгорукий со своей подмогой еще далеко, а Булавин близко, и, ежели он возьмет Черкасск, глядишь, худо придется тем, которые шли против. Вот и стали выжидать старожилые: будь, мол, что будет, а там посмотрим. Главное, убрать подальше деньги да язык держать покамест под замком.

В дороге попадался всякий люд — пешие, конные, косячком в несколько человек, в одиночку, налегке, с поклажей. Кто торопился и, поглядывая на солнце, подхлестывал лошадь, кто двигался не спеша, следуя стародавнему правилу: тише едешь — дальше будешь.

На третий день пути, когда Кожин остановился обочь дороги, чтобы покурить трубку, к нему подъехал незнакомый казак.

— Здорово живешь.

— Здорово,— не сразу ответил Кожин: трубка плохо раскуривалась.— Вот напасть, табак, что ли, отсырел.

— Бери моего,— предложил казак и вынул ногайский, в узорах, кисет.

— У меня завсегда сухой. Зато я, вишь, кремень потерял, негде огня взять.

На верхней губе у него виднелся небольшой шрам, из-за чего она была сбоку чуть приподнята и приоткрывала желтый зуб. «Кабан,— подумал Кожин,— сущий кабан. И глаза под стать — маленькие, колючие, пропарывают насквозь».

Кожин протянул ему кресало, и казак быстро высек искру и раздул фитиль. Так и стояли они возле коней, покуривая и глядя на реку, по которой плыли легкие суда — будары.

— Всем служит справно наш Дон Иваныч,— заметил казак,— и своим и чужим.



«А сам-то ты кто таков?»— подумал Кожин, но спрашивать не стал: тогда пришлось бы выкладывать и про себя. Правду говорить не хотелось, а врать будешь, того гляди, впросак попадешь — на Дону многие казаки друг друга знали.

— Служит,— неопределенно отозвался Кожин, провожая глазами суденышки и думая о том, что скоро мимо этих мест поплывут будары Булавина. Верно, Доном Ивановичем звали казаки свою реку, а нынче отчество надобно менять. Кондратьич — в самую пору будет.

Пока они посасывали трубки, поговорили о том о сем, чтоб не молчать. Затем, словно бы ненароком, Кожин промолвил:

— Давеча людей на дороге встретил, гуторят, Булавин близко.

— Мне что! — отмахнулся казак.— Мое дело — сторона. Пущай Максимов о том печется.

— Истинно,— Кожин рассматривал незнакомца. Зипун поношенный, шаровары старые, но лошадь добрая и у сабли эфес не простой, серебряный, за поясом длинный пистолет. Кто он? Видать, не из голутвенных. Впрочем, какой казак не позарится на дорогое оружие и коня? За них черту душу заложит. В одном исподнем ходить станет...

Они покалякали еще малость — о раннем тепле, о высоких ценах на хлеб, повздыхали о царевом запрете на рыбную ловлю — и сели на коней.

— Куда тебе? — вырвалось у казака.

— Недалече,— кивнул вперед Кожин.— А тебе?

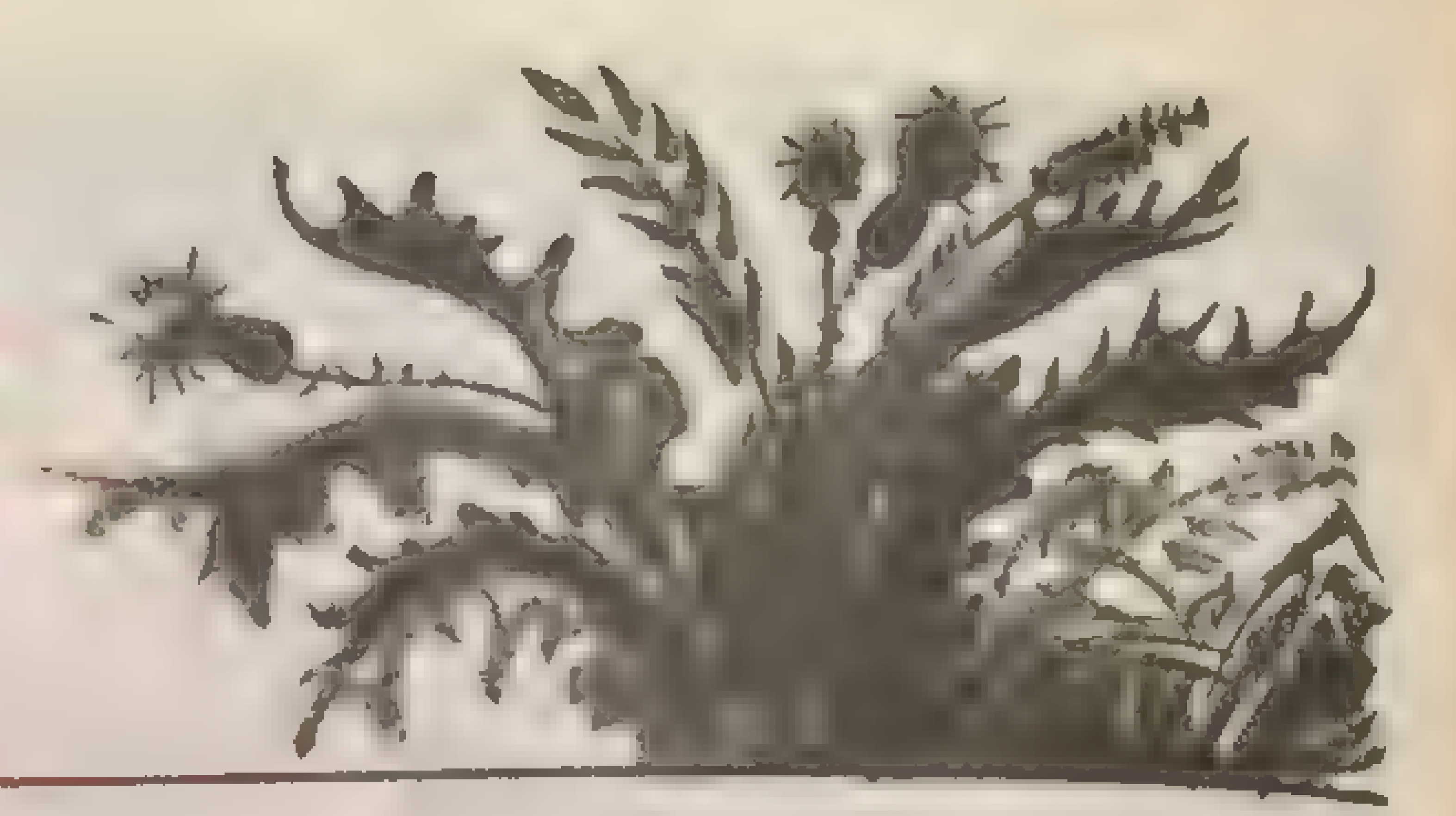
— Куда ветер дует.— Он улыбнулся, губа его поднялась выше, желтый зуб так и глянул по-звериному. «Ни дать ни взять — кабан»,— снова подумал Кожин.

— Ну, прощевай. Спасибо за табак.

— Прощевай.

Путники разъехались в разные стороны, не оглянулись. У одного под седлом была припрятана бумага для Булавина, другой направился в Белгород с поручением того же Кондратия Афанасьевича.

НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА



I

Всадник, что повстречался Кожину, и впрямь носил прозвище Кабан. Да и как же иначе звать при такой наружности? Никакое не подошло бы. Настоящее имя его было Григорий. Но об этом никто не помнил. Не назовешь волка лошадью, а быка медведем: нелепо. Вот и Кабана негоже было кликать Григорием. Бог не обидел его ни силой, ни ловкостью. А между тем, несмотря на свой устрашающий вид, был он человеком нрава незлобного, за что и любил его Иван Лоскут, которому он приходился дальним родичем.

К белгородскому воеводе Кабан был отправлен после того, как Булавин два часа проговорил со стариком разинцем, ломая голову, что же делать, дабы вызволить жену и сына, взятых в заложники.

В письме, которое было доставлено от воеводы, предлагалось Булавину одуматься и явиться с повинной, тогда он будет прощен, и ему выдадут семью. А чтобы не возникало у него сомнения, живы ли Микита и Анна, в письмо были вложены две прядки волос — светлая и потемнее. Булавин сразу узнал их, а как взял на ладонь, тяжко ему стало, мочи нет. Хоть зараз вскакивай в седло и гони к Белгороду.

Завернул он две прядки в кусочек холстины и привязал к нательному кресту. Думал, легче будет, ан все наоборот вышло — словно камнем сердце придавил. «Родные,— думалось,— виноват я перед вами. Прости, Анна. Горькую долю дал я тебе. И ты, Микита,— кровь моя, корешочек мой. Не я ли тебя сам оторвал от древа отцова...»

Булавин готов был завыть от необъяснимой тоски, как одинокий волк в глухую полночь, но сдавил зубы до боли, рот рукой

зажал, дабы ни единого звука не вырвалось. «Обещал ты всем волю, Кондрат, кров и жизню добрую. За то войной пошел,— лезли в голову неотвязные мысли.— А для себя чего добудешь? Власть и почет?.. Да надобны ли они тебе? Угомонись. Как жить станешь — бобылем али слуг заведешь, дабы кормили, поили, печь топили? А смогут ли чужие руки в твоем доме тепло держать?.. Утихнет ли когда твоя боль?..»

До сих пор не представлял он, что останется без семьи, без дома. Походы, скитания, ночевки в шатрах или случайных избах, постоянные стычки, стрельба, сабельный звон — все это казалось временным, не настоящим. И вот письмо от воеводы из Белгорода, а в письме две прядки самых близких ему людей...

Он прошел на конюшню, подтянул у лошади подпруги, вывел на двор.

— Куда, Кондратей Офонасьич? — спросил один из казаков.

Булавин не ответил: не услышал. В задумчивости он поправил стремя, не спеша, как бы примеряя, вдел сапог в потертое медное ушко и вдруг, резко оттолкнувшись правой ногой, взлетел на лошадь. В следующий миг он ткнул ее каблуками в крутые бока и ударил плетеным арапником.

Куда он пустил лошадь, зачем, Булавин и сам не знал. Он лишь почувствовал, что, когда замелькал у него перед глазами ковер степных трав — с белыми хвостами прошлогоднего ковыля, с метелками пахучей полыни,— в груди полегчало. Он втягивал ртом воздух, наполненный теплыми дурманными запахами апрельской степи, что буйно зеленела, цвела, набирала силу, и душа его — окаменевшая, холодная — отогревалась с каждым глотком этого воздуха.

Скакать, лететь стрелой — единственное, что сейчас ему помогало. Однажды в далеком детстве побила его ни за что мать. Ветром тогда распахнуло плохо прикрытую дверь, она ударила по скамье, на которой стоял пустой горшок, он упал и раскололся. Мать подумала на Кондрашку: он рядом крутился. Ну и всыпала ему по первое число. В слезах выскочил он на баз и увидел телегу с запряженной лошадью. Плюхнулся в телегу, дернул за вожжи, и лошадь пошла. Но ему хотелось, чтобы она двигалась быстрее. Он схватил кнут, замахал им яростно над головой, а затем хлестнул лошадь. В тот раз он тоже не знал, куда правит. Не знал даже, чья лошадь. Главное — ехать. Его догнали

и отлупили еще крепче. Но с тех пор Кондрат познал сладость езды. И видать, осталась в нем та страсть до конца жизни.

Степь охватывала его со всех сторон. Он скакал в открытый простор, не разбирая дороги, будто какая-то необходимость погоняла его, не давая ни отдыха, ни передышки.

Кондрат остановил взмыленную лошадь перед каким-то холмом возле зарослей дикого вишняка. Спрыгнув, он выхватил саблю и принялся прорубать проход средь густых, непролазных кустов. Ему не нужно было никуда идти, но он крушил сросшиеся ветви с приступом ярости. В нем клокотала необузданная сила, и усмирить ее не было никакой возможности. Появись перед ним сейчас максимовское войско, он с радостью кинулся бы на него в одиночку.

Когда же Булавин прорубился сквозь заросли, вдруг замер, не зная, что делать дальше. Остыв, он вернулся за лошадью, провел ее через сотворенный только что ход, привязал, а сам поднялся на холм и лег там на голой, открытой ветрам макушке.

Здесь, отдалившись от людей, суеты и шума, он мог обо всем спокойно подумать. Стало быть, коли явишься к воеводе — целы будут Анна и Микита. Полно тебе, Кондрат. Неужто веришь боярскому слову? Брехня все. Не дай провести себя на мякине. Явишься — не увидишь ни жены, ни сына. Бросят тебя в клетку и повезут до Москвы, как Степана Разина. А там, в стольном городе, отвесишь низкий поклон. Да не перед царем, в палате, а на плахе у ног палача согнешься. Так и сложишь голову понапрасну...

А ежели все подобру сложится? Ежели, верно, простят? Забирай, мол, своих, а про голытьбу, про мужиков беглых, про сотоварищей забудь. На что всех ублажать, о себе пекись, живи покойно...

Булавин лег на спину, смотрел в синее небо. «Забудь... забудь...» А в памяти чередой возникали разные лица. Хмурые и улыбчивые, старые и молодые, чистые и со шрамами. И глаза. Тысячи глаз. И все смотрели на него. С надеждой и доверием. Сотоварищи... Одной жизнью он с ними жил, одной дорогой шел. И разве они не помогли ему? Разве не рядом с ними уверовал он в свое предназначение?..

Ветер гнал по небу облака. Они порой закрывали солнце, но ненадолго, и, ожегшись, спешили убраться прочь, а огненный



круг вновь вырывался и посылал на землю свет и тепло. Булавин расстегнул зипун, снял трухменку. Жарко стало, да, видать, не от солнца. «Дурень ты, дурень! Коли сдашься на милость воеводы, как же ты жить станешь? — терзал себя Кондрат.— Стало быть, все, что сделал, впустую? Уйдет, как вода в песок? Будут на тебя пальцем показывать: гляньте, Булавин идет; шумел, как тулумбас[1], будто за правду стал, да боярам продался, холера... Как же ты сможешь, Кондрат, после того по земле ходить? Будет она перед тобою оплеванной.— Он вытер испарину со лба.— Полно. Пошто страшный суд себе учинил? Один у тебя путь, и ты его выбрал...»

Но как все же грудь давит.

Булавин потянул за цепочку, вынул крест. Стал отвязывать холстинку — пальцы не слушаются. Развернул — вот они, две прядки. Светлая и потемнее. Смотреть на них горько и сладостно.

Он приподнялся на ноги. Махнул холстинкой над головой. Ветер подхватил прядки, понес в степь. Еще долго стоял он на вершине холма, смотрел в ту сторону, куда они улетели.

С холма ему были видны дали, подернутые блеклой голубой дымкой, и полоска Дона — она уходила к югу, туда, где ждал его Черкасск...

Оглядевшись окрест, он вдруг приметил три движущиеся точки. Их влекло куда-то вдоль неширокой балки, но вот они изменили направление и взяли точно на него. Кто же эти три всадника, которые так быстро приближались к холму? Свои?.. Чужие?.. Придерживая саблю, он сбежал вниз, отвязал лошадь, проверил пистолеты. «Держи, Кондрат, ухо востро. Никак, по тебе гульбуют»[2].

В правой руке загудело. Так всегда бывало перед боем. Он сел на лошадь. Наблюдать за всадниками было удобно. Булавина они не видели: голова его не поднималась выше кустов.

Ах, как он ждал предстоящей стычки!

Он притаился сбоку от прорубленного прохода и уже хорошо знал, что сделает. Сюда, в заросли, они смогут войти лишь следом друг за другом. Стрелять нужно будет во второго всад-

---

[1] Тулумбас — татарский бубен.

[1] Гульба — охота; гульбовать — охотиться.

ника, тогда не уйдет и первый: сунется вперед — получит пулю, а повернуть назад нельзя — проход закрыт. Так же, как и для третьего, если тот захочет прийти на помощь. А в сторону через непролазный вишняк лошадь не погонишь.

Ближе, ближе всадники. Булавин уже слышал гулкие удары копыт. Этот стук отдавался в висках, в груди, от него, казалось, вздрагивали ветки, за которыми он укрылся.

Теперь нужно было навести всадников сюда, к проходу. «Ладно, подмогну». Булавин разбойно свистнул. Всадники приостановились, поговорили, затем поскакали прямо на свист. Булавин взвел курки, приготовился.

Но все обошлось без выстрелов. Первым, кого смог рассмотреть Булавин, был Иван Лоскут.

— Куда ж ты подевался, Кондратей? — закричал он, когда Булавин выступил из-за кустов.— Один поехал, никому не сказал.

— Надобно было. Пошто шумишь?

— Изрубят тебя занапрасно — вот пошто.— Вислые усы Лоскута сердито дергались.— Колоброд окаянный...

— Молчи, старый. Ты сам молись богу: цел остался.— Булавин поправил пистолет за поясом.

— Я-то? — Лоскут улыбнулся, черная щербатина его меж крепких зубов так и заиграла.— Будя стращать. Мы и сами не из робкого десятка.— Он оглянулся на своих спутников.

Те рассмеялись:

— Истинно, Кондратей Офонасьич! Зараз берем тебя в плен, и айда с нами. Одному здесь быть негоже.

— Добро,— кивнул Булавин.— Езжайте впереди, а мы с Лоскутом следом. Не шибко езжайте.

Вот тут-то, по дороге к стану, Булавин и рассказал разинцу о письме воеводы и своем горе.

Лоскут слушал не перебивая, посасывал на ходу трубку. Не заговорил он сразу и после того, как Булавин умолк. Некоторое время так и ехали — неторопко, в полном молчании. Но вот старик убрал трубку, произнес:

— Ты мне как сын, Кондратей. С твоим отцом в далекие лета при Степане Разине гуляли мы по многим рекам. Знали в походах и удачу и беду лихую, что говорить. Добрый был казак...— Он помолчал.— А твоя нонешняя боль в меня вошла.

жжет, окаянная. Давай вместе думать, как быть. Одно скажу сразу. Верно ты рассудил не ездить в Белгород. Всегда помни, Кондратей: ты с нами, а мы с тобой. Ты поднял народ, а он — тебя. На том стоит наше братство святое. И коли мы выбрали тебя в атаманы, пойдем за тобой куда хошь — и на край света, и на плаху, сумнительства не держи.

— Спасибо, отец! — Голос у Булавина чуть дрогнул.

— Полно, Кондратей. О заложниках погуторим. Дело не из легких, походя не решишь.

— Не решишь, — сокрушенно повторил Булавин. — А мешкать нельзя. Воеводе ответ надобен.

— Обождет.

— Как же! Я должон отписать ему, коли согласен. Не отпишу — погубит он моих.

— Ты ему сразу-то не отвечай, что надумал. За нос поводи. Ни так ни сяк пусть понимает. Мы тем временем что-нито учиним.

— Какой же ответ послать?

— А такой: дескать, хочешь доподлинно знать, живы ли жена и сын. Для того, мол, посылаешь своего человека, дабы он своими глазами увидел и поговорил с ними.

— Кого послать, Ананьина? Ловок, грамотен. Да ежели кто вспомнит, что от Максимова он переметнулся, ему несдобровать.

— Есть у меня сродственник, сорвиголова. Его и пошлем.

— Не Кабан ли?

— Он самый.

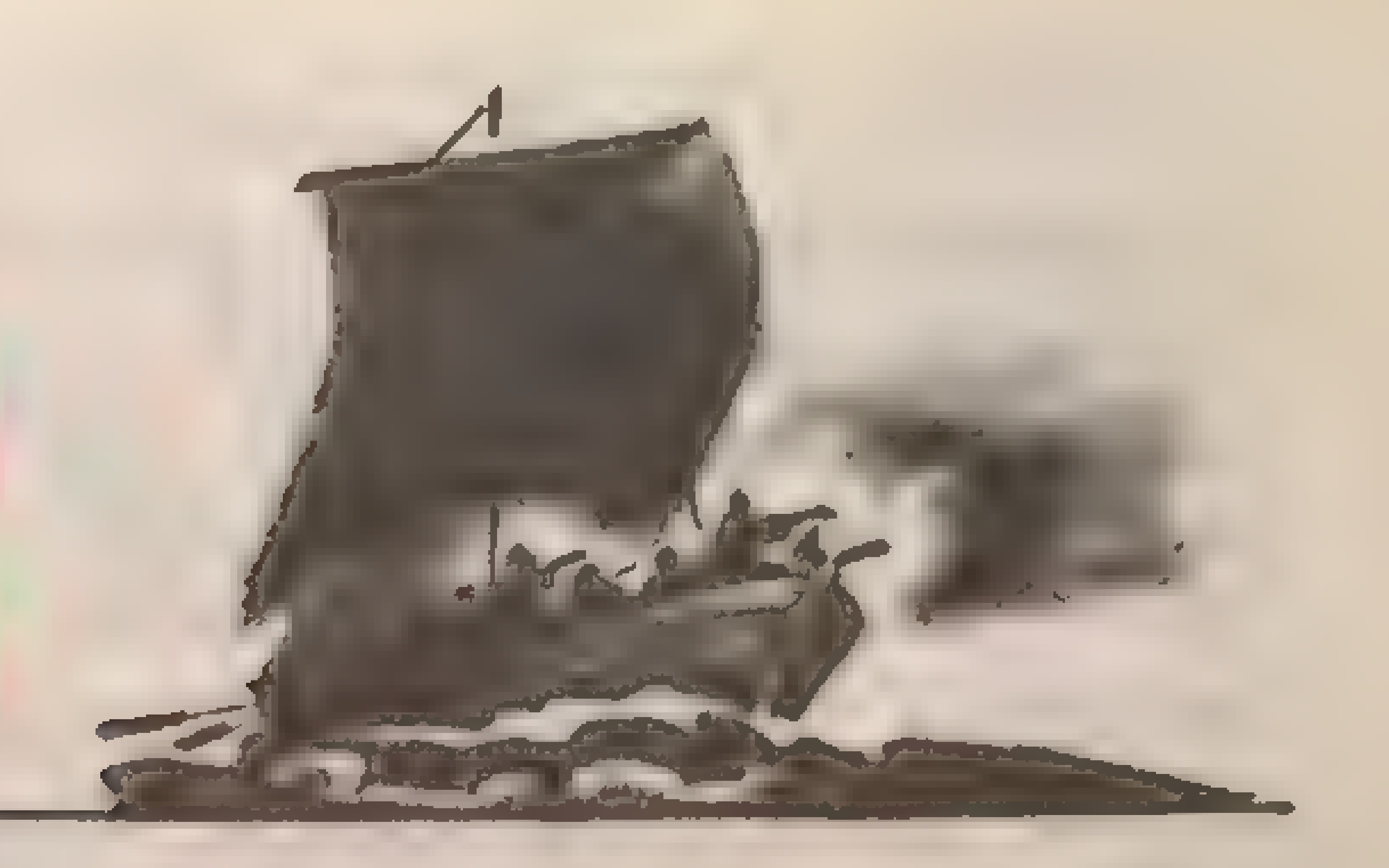
— Сгодится ль? Видал, как он сабелькой машет, лихой рубака. Дак ведь там боле голова нужна, не сабля.

— Он и разумом не обижен. Твоего Ананьина за пояс заткнет.

В тот же день они поговорили с Кабаном. Ему было дано письмо к воеводе, деньги — может статься, понадобятся в таком деле — и наказ: получше выведать, как содержатся заложники, а в случае чего, действовать на их пользу по своему разумению.

С тем и двинулся булавинский посланец в путь.

СТРЕЛЬБА ПЫЖАМИ



I

Как все же чудно устроена жизнь! Печаль и радость в ней идут порой рядышком, будто за руку взялись, будто одним ветром их принесло.

Казалось бы, только что испил Кондрат Афанасьевич горькую чашу из-за письма белгородского воеводы, только что отправил к нему Кабана и пребывал еще в муках душевных, ан глядь — прискакал новый человек да с такой вестью, от которой слетела хмурь с атаманова лица.

Человеком этим был Кожин.

Прочитав ту бумагу, что грел всю дорогу казак под своим седлом, Булавин рассмеялся, стукнул себя ладонью по колену:

— Ай хитры, чертяки! Чего удумали...

Атаманы расположенных подле Черкасска станиц писали Кондрату Афанасьевичу: «Милости просим. Когда ты изволишь к Черкасскому приступать, на наши станицы не наступай. Мы будем бить по тебе из ружей пыжами[1]. И ты вели своему войску стрелять в нас пыжами».

Булавин задумался. Говорил он давеча с Лоскутом, как важно подойти к Черкасску без потерь, чтобы ударить по Максимову свежими силами. Бой ведь не просто за город, но за столицу Войска Донского. Удастся ли быстро взять ее? Посылал он своих людей волновать черкасскую бедноту. Но как знать — поднимутся ли, одному богу ведомо. Ежели осада затянется, подоспеют полки Долгорукого. Нет, с Черкасском медлить нельзя. А там и на Азов можно двинуться. Затем на Воронеж. А дале — не на Москву ли?..

---

[1] Пыж — войлочная прокладка, которой уплотняли пороховой заряд.

Одна из свечей в шандале догорела. Фителек потрещал, погрузившись в лужицу расплавленного воска, и угас. Булавин тряхнул головой. «Полно! — сказал он себе.— Да неужто взлетишь ты в такую высь, откуда маковки московские разглядеть можно? Не озоруй, Кондрат. Остуди свою голову. Больно горяча. В Москве по ней давно топор навострили. И так высоко поднялся — сколько рук тянется, дабы тебя скинуть...— Он усмехнулся.— Знать, коротки руки, коли не дотягиваются. А коротки потому, что сила с тобой, Кондрат, нынче большая. Не для того ли бежала сюда голытьба, дабы стать вольными. Но князья-бояре, вишь, на волю нашу замахнулись. Полки ведут. И Максимов, Москвой прикормленный, с ними же заодно. И домовитые москалям продались. Зна напрасно поспешили. По всем рекам народ за правду поднялся. Вон ведь какой пожар полыхает! А с чего началось?..»

Кондрат вспомнил, как два года назад поджег соляной завод в Бухмуте, что по царскому повелению был отобран у казаков. Ай славно пылали солеварни, тысячи искр прорывались сквозь дым и улетали в ночное небо. Дотла сгорел соляной завод, а искры, знать, не только к небесам летели, но рассыпались по всему российскому югу — загулял огонь по домам богатеев.

«Два года минуло,— думал Булавин,— пожар не унимается. Нелегко загасить его. Ой нелегко! Ну да ладно, то царевы заботы. А наше дело — взять Черкасск. Да покамест перед боем надобно посытнее кормить людей. Кой-кто из новопришлых еле на ногах стоит. Держись, горемыки. Накормлю вас, одену, обую. Разгибайте спины. За свою волю вступились...»

И вдруг словно арканом сдавило грудь, сердце сжалось до рези: «Анна!.. Микитка!.. Им-то кто волю даст? Кто защитит?.. Родимые...»

2

Стрельба на реке началась с рассвета. Она временами затихала, затем вновь вспыхивала еще суматошнее и яростнее.

Черкасск был надежной крепостью. Сорок пушек смотрели во все стороны. Шесть станиц окружали его, защищая подступы. Лукьян Максимов считал: булавинцам ни за что город не взять.

— Отсидимся,— говорил он старшине,— а там, глядишь, Долгорукий подоспеет с подмогой.

Тем не менее возникшая стрельба угнетала. Прислушиваясь к ней, войсковой атаман почти непрестанно потирал свой носчирик, что всегда случалось, если Максимов испытывал сильное беспокойство. Он то и дело посылал помощников, дабы разузнали и донесли ему о ходе сражения.

Чаще он посылал есаула Илью Зерщикова, как наиболее расторопного и толкового. Зерщиков, будучи казаком из стародавних и зажиточных, не первый год крутился возле Максимова, смотрел на войскового преданной собакой. «Илья — мой ближний друзяк,— не раз говаривал Максимов,— моя десница»[1]. Он поверял Зерщикову многое. Вести от Ананьина тоже шли в первую очередь к самому приближенному есаулу: Максимов остерегался поддерживать непосредственную связь со своим лазутчиком — мало ли что может произойти. Однажды в час особого расположения он сказал Зерщикову: «Эх, Илюша, коли не на кругу выбирали войскового, я бы тебе завещал сей бунчук. На атамановом месте никого пригодней тебя не вижу»,— и протянул древко с конским хвостом есаулу.

Ничего не ответил Зерщиков, только благодарно взглянул, только дрогнуло древко в руке. Ужаснулся бы Максимов, если б знал, в какой огонь подлил он тогда масла. Зерщиков давно уже в мыслях видел себя войсковым, денно и нощно мечтал об этом бунчуке, ибо и в самом деле считал, что во всем Войске Донском нет сейчас человека достойнее, чем он, Илья Зерщиков. Желание быть войсковым постоянно мучило, жгло душу, но Зерщиков умел держаться, понимая, что не владеть ему хвостатым бунчуком, пока жив Максимов. Так и приходилось при гордыне, наполнявшей грудь, выказывать перед Максимовым смирение: то ужом вертеться, то ковылять конем стреноженным.

И вот, бегая по приказу атамана к городским стенам и воротам, Зерщиков понял: хоть и вцепился войсковой в свою власть зубами, ан зубы-то ему, кажись, настала пора, вышибут. Но кто — Кондрашка Булавин! Вот-вот вырвет максимовскую булаву. «Ладно, Кондратей,— думал Зерщиков,— хватай ее воровской ручищей. Пир твой коротким будет. Не простит Долгорукий загубленного брата».

[1] Десница — правая рука.

Тем временем будары и челны Булавина уже двигались по Дону мимо станиц, прикрывающих Черкасск. Станичники встретили их плотным огнем. Хоть и знали булавинцы о военной хитрости станичников, а все же у многих побежали по спине мурашки. Как не быть страху, когда по тебе так палят. Но глядь — и впрямь нет никакого урона от этой жаркой стрельбы.

— Что, молодцы, присмирели? — крикнул своим Булавин.— А ну, отвечай дружнее, чтобы чертям тошно стало.

— Это мы зараз.

— Ужо постараемся.

Загремели ружья булавинцев.

Казалось, от одного лишь грохота, что стоял над рекой, разлетятся челны в щепы. А вскоре от дыма уже ничего нельзя было различить, словно густое облако спустилось с неба и легло на воду.

* * *

Лукьян Максимов все так же с замиранием сердца слушал эту отчаянную перестрелку. «Да, близко подступил Кондрашка,— думал войсковой атаман.— Прет, как бешеный бык. Но Черкасск ему не взять,— пытался успокоить себя войсковой.— Рога обломает. А там подойдут царевы полки, разобьют воровскую голытьбу в пух и прах... Ишь пальба-то какая!» И невдомек было Максимову, что из ружей летят не пули, а пыжи.

Зерщиков же об этом знал: Ананьин постарался, уведомил. Знал он и о восстании, что в любой миг должно было начаться. Но решил обо всем помалкивать, а Максимову докладывал так: жмет, мол, Булавин, да станицы держатся крепко, глядишь, выдержат напор мятежников, но ежели и не выдержат, то все равно не прорваться булавинцам в город. Прав ты, Лукьян Васильевич, просидим до прихода Долгорукого.

— Знамо, отсидимся,— повторял Максимов,— ну иди, Илья, доглядай, а чуть что, борзей ко мне. Давай, давай, одна нога здесь, другая — там.

Подгонять Зерщикова не надо было. Он и сам сейчас желал находиться ближе к толпе, дабы видели: нет, не с Максимовым он, а среди тех, кто ждал Булавина. Главное — не упустить время, примкнуть к восстанию в тот миг, когда все начнется. И дол-

жно быть, считал Зерщиков, начнется оно возле ворот, но не раньше, чем булавинцы подступят к ним вплотную.

Выстрелы с реки раздавались все громче. Есаул, забравшись на стену, увидел, что туча, легшая на Дон, подплыла уже к самому Черкасску. Когда же из клубящейся, грохочущей тучи повалил с криками и со свистом на берег народ, Зерщикова словно ударило кнутом: «Пора!»

Он метнулся к воротам и подоспел в самый час: между отрядом, охранявшим ворота, и толпой началась драка. Град камней обрушился на стражников. Те выхватили сабли, вскинули ружья. Но голутвенные напирали, у некоторых из них тоже замелькали в руках сабли.

— Назад, сволочи! — орал старшой в отряде, грузный, с отекшим лицом казак.— Перебьем всех!

Камень, метко брошенный кем-то, угодил ему в голову. Старшой взвыл, схватился руками за темя. Отряд ударил из ружей.

Толпа ахнула, откатилась, и в этот миг к стражникам, находящимся возле самых ворот, подскочил Зерщиков с пистолетом в руках.

— Открывай ворота! — закричал он.

Стражники ошалело уставились на него. Есаул был им хорошо знаком: как же, всегда при Максимове. Но что делать, кого слушаться: старшой, поставленный над ними, корчился от боли, облапив окровавленную голову, даже саблю бросил.

— Открывай, говорю! — Зерщиков выстрелил над ухом стражника.

Это подействовало. Караульные поспешно выдернули массивную щеколду — ворота распахнулись.

Булавинцы уже были в нескольких шагах, Зерщиков, широко раздвинув руки и осклабившись, поспешил к ним навстречу. Он сжал в объятьях какого-то первого попавшегося грязного оборванца — в нос так и шибануло смешанным запахом пота, лука и пороха — и заголосил:

— Наконец-то!.. Пришли, слава богу... Мы-то ждем вас, не дождемся!

А в растворенный зев ворот валило, втягивалось булавинское войско.

Максимов, дожидаясь Зерщикова, уже несколько раз спрашивал, не появлялся ли верный есаул? Нет, отвечали, будто

в воду канул. Не выдержав, атаман пожелал сам подняться на городскую стену, глянуть на все собственными глазами. Прихватив оружие, он вместе со старшинами вышел со двора. Но едва появился на улице, как тут же был окружен толпой. В общем крике и шуме он ничего не мог понять. Бороды, горящие злобой глаза, орущие рты — все это смешалось в какую-то живую рябь.

Два казака выхватили у него пистолеты и саблю.

— Да вы что?! — воскликнул Максимов.— Спятили?

— Ништо, Лукьян Васильевич, кончилось твое атаманство.

Он оглянулся на старши́ну, но ее тоже вмиг разоружили. «Что за люди?.. Где наши?.. Откуда сброд набежал?..» — лихорадочно думал войсковой, а руки ему уже вязали.

На улице показался косяк всадников. Среди них Максимов узнал Булавина. С этим угрюмым, невысокого роста крепышом — бахмутским атаманом — приходилось и раньше встречаться. И всегда у Максимова после таких встреч оставалось неприятное чувство: уж больно тверд и негнуч был Булавин, не походил на других, что заискивали перед войсковым, выслуживались кто как мог. Булавин не юлил, смотрел прямо, взгляд его казался Максимову тяжелым, давящим, так и побуждал отступить, отойти в сторону. Тогда, после поджога солеварен, Булавин сам прискакал с небольшим отрядом к Максимову в Черкасск, звал пойти «всеми реками» против царского полка, что стоит в городке Изюме. Напорист был, внушал о казачьем братстве, о донской воле, упрекал Максимова в попустительстве прибыльщикам. Еле удалось унять, спасибо Зерщикову. Илья нашел ход — посулил помощь, но просил подождать. Вот бы навалиться в то время на вора, скрутить, но под рукой, как назло, не было людей. А Булавин весь кипел. Да еще был при своем отряде, тоже, видать, разгоряченном. Убоялся тогда Максимов что-либо сделать с Булавиным, а потом как жале́л... Нужно было бы попытаться, через час-другой собрать сотню домовитых казаков да ударить по булавинцам. И самим было бы легче, и Москва была бы довольна. Да что теперь вспоминать...

Рядом с Булавиным ехал кто-то, полуобернувшись к нему, и говорил, говорил, размахивая руками. Кафтан был на нем, как у Зерщикова,— голубой с шитьем на рукавах. «С Ильи стянули,— машинально отметил Максимов.— Убит, поди».



Говоривший с Булавиным вдруг обернулся. Максимов даже глаза протер: неужто Зерщиков? Точно, он. Войсковой выругался, сплюнул:

— Иуда!.. Дерьмо собачье... Погодь, Илюшка, на колу подохнешь.

Зерщиков взглянул на него, как на незнакомого, будто в первый раз видел, отвернулся.

Булавин же направил коня прямо к Максимову.

— Ну что, Лукьян Васильевич,— загрохотал он своим низким голосом,— бог дал, свиделись. Аль ты не рад? Бельма-то покажь, пошто голову клонишь?



1

К белгородскому воеводе ввели Кабана. «Эка рожа разбойная,— подумал царев наместник, разглядывая вошедшего.— Такого поскорее бы в петлю — и весь разговор. Страхолюдина! Да чего там — небось и Кондрашка не краше. По себе подбирает...»

Кабан был задержан возле одной из городских башен, в которой содержались жена и сын Булавина. Он лез напролом, выхватывал саблю и требовал, чтобы его пустили к заложникам, не то, мол, будет жаловаться самому воеводе. Лишь когда его схватили, он показал письмо от Булавина.

— С того и начинал бы, дурень! — ругались караульные, приставленные к башне.— Идем до воеводы, морда кабанья.

— Вы еще в ногах у меня поваляетесь, черви навозные,— не унимался Кабан.

— Заткни рот, дурень, и ступай, не то шею наломаем.

— Да я вас в бараний рог... Да я...

— Ой, напужал...

Казалось, и впрямь вел себя Кабан неразумно.

Но на самом-то деле неспроста он так шумел и мозолил всем глаза. Два дня он наблюдал за башней, прежде чем устроить эту бучу. Он уже точно знал, когда караульные меняются, и куролесил перед ними, чтобы они получше его запомнили сейчас да поменьше удивлялись потом.

А у дома воеводы он успел побывать еще раньше, разговорился с человеком из дворни, затащил его в кабак, поил вином да все ругал Булавина: послал, мол, Кондрат с письмом, а сам-де не знает доподлинно, здесь ли, в Белгороде, его жена и сын содержатся, глядишь, зазря к воеводе под горячую руку сунешься.

— Тю! — дернул головой дворовый человек.— Плевое дело. Про булавинскую бабу с малолетком я сам слыхивал, здесь они, в Белгороде. Все колодники и заключенные сидят в темнице, а она у нас под Крымской башней. Иди к воеводе — и вся недолга.— Он положил на стол два локтя.— А коль скоро получил ты ответ на свой спрос, вели целовальнику, чтобы еще вина подал.

— Эй, братец! — тут же закричал Кабан.— Принеси кувшинчик.

После того разговора и стал Кабан приглядываться, как ведется караул возле башни. Сперва он не знал, что предпримет, дабы вызволить заложников, но мало-помалу в голове его начала созревать одна придумка. А чтобы ее осуществить, прикинул он, нужно вести себя перед караульными дерзко, нахраписто, пусть почувствуют: есть, мол, у него на то право, воевода, мол, так и так скажет им, чтоб допустили его к булавинской семье. Конечно, он понимал, нет, не раскроют перед ним дверь без позволения воеводы, но то позволение будет потом, а пока что надобно помельтешиться перед караульными...

И вот привели его к воеводе. Загодя отобрали пистолеты и нож, что торчал за поясом. Правда, пообещались вернуть. А про нож, который в сапоге за голенищем припрятан, не докумекались.

— Ты, сказывают, с письмом от Кондрашки Булавина?

— С письмом, боярин,— слегка поклонился Кабан.

— Давай.

Он прочитал письмо. Не глядя на посланца, сказал:

— Ступай. За ответом после придешь, позовут.

— Ответа, боярин, не надобно, пока я не увижу заложников да не погуторю с ними.

Насчет «погуторю» он прибавил от себя. Булавин не поручал этого.

Воевода вспыхнул.

— Добро,— произнес он, с трудом сдерживая гнев.— Можем и тебя упечь в темницу. Посидишь в колодках. Наговоришься вдосталь.

— Ты не стращай, боярин.— Кабан переступил с ноги на ногу.— Я ить сам стращать умею.— Усмехнувшись, он блеснул клыком.

«Такой, глядишь, впрямь кинется да зашибет мигом,— поежился воевода,— кулачищи-то, небось, по пуду».

— Ступай,— повторил он,— обождешь в сенях.— И подумал: «Верно, велю схватить разбойника».

Кабан двинулся к двери, широко раскрыл ее и на самом пороге чуть не столкнулся с каким-то запыхавшимся армейским капитаном.

В сенях он пробыл недолго. Опять пролетел, шурша плащом, капитан, а вскоре вышел слуга и проговорил:

— Идем.

— Куда? — прищурился Кабан и, напрягшись, ощутил ногой засапожный нож: задарма не дамся, не на такого напали.

Слуга покосился на него, опасливо сказал:

— До господина.

Воевода, как и раньше, восседал за столом ближе к углу, но встретил на сей раз Кабана по-другому, терпимее. Да и во взгляде его уже не было хмурой спеси, теперь он смотрел на посланца мятежников по-деловому, словно прикидывал, может ли быть какая польза от этого человека. Наглядевшись, молвил:

— Присаживайся.

— Благодарствуем.— Кабан опустился на скамью, куда указал кивком воевода.

— Стало быть, хочешь взглянуть на заложников?

— И погуторить малость.

— Добро.— Воевода помолчал.— А за сколько дён ты в Черкасск доберешься?

«В Черкасск? — Кабан так и вцепился в это слово. Полно, не ослышался ли? Только врожденная осторожность удержала его — не переспросил. Неужто Кондрат в Черкасске? Но как попал туда, с войском вошел али в плен взяли? Нет, кабы в плен захватили, не стал бы воевода сейчас лясы точить, а тут же упек за решетку». И еще подумал Кабан: «Нужно не показывать виду, что не знаешь о взятии Черкасска Булавиным».

— За сколько дён, спрашиваешь? А пошто спешить, Кондрат нынче в силе, может обождать.

— Зато мне ждать недосуг,— не выдержал воевода.

— Скажу об этом Кондратею Офонасьичу, а уж как он изволит, не обессудь, боярин, его воля. С Черкасска до Белгорода не так далече, до Воронежа подале будет...

— Ты, казак, не юли. Отвечай прямо.

— Я и говорю,— невозмутимо продолжал Кабан,— коли Кондрат без войска к тебе подскачет — одно дело, а ежели с отрядами — другое.

Сжал воевода пальцы в кулак — кулачок получился мягкий, пухлый,— хотел по столу стукнуть, передумал. Сказал:

— А третье дело станет, когда мы тебе пятки прижжем — птицей долетишь.

— Ты, боярин, не гневайся. Сам спрашивал, я тебя обидеть не хотел, отвечал, как ты велел.

«Он вовсе не дурень,— подумал воевода,— морда кабанья, а хитер, как лиса. На пушку такого не возьмешь. Эх, не вовремя принес капитан весть, что пал Черкасск. По-иному бы шел разговор с булавинским вором...»

Воевода встал из-за стола, процедил сквозь зубы:

— Пойдешь в темницу.

Кабан и глазом не моргнул. Тоже приподнялся со скамьи. Не приметил в нем воевода ни уныния, ни боязни — глаза все такие же колючие.

— Пойдешь в темницу,— повторил воевода,— увидишь заложников и тут же в путь.



В ТЕМНИЦЕ

1

Когда стражники вновь увидели Кабана возле Крымской башни, от удивления глаза выпучили. Он не только красовался на коне, при сабле и пистолете, но прискакал в сопровождении двух драгун. Как же был доволен Кабан: все шло как по маслу, скоро и придумку свою он пустит в ход.

— Ну, что, псы сторожевые,— крикнул булавинец,— говорил, еще поклонитесь мне в ножки! А ну, отворяй ворота.— Он соскочил с лошади, стал привязывать ее к коновязи.

Стражники помедлили, но спешившиеся драгуны кивнули:

— Отворяй.

Через ворота они прошли на маленький двор, примыкавший к башне и огражденный высоким, глухим забором. Потом кто-то из стражников отомкнул еще одну дверь, тяжелую, кованую, в самой башне и зажег факел.

Сырые каменные ступени вели вниз.

— Пошли,— проговорил стражник, подняв факел повыше.

Булавинский посланец и старший драгун двинулись за ним. В нос ударило сладковатым запахом прели. С низких сводов падали капли воды.

В подземелье сперва было тихо. Но вот с разных сторон из отдельных темниц послышались крики, вопли, стуки.

— Эй, эй! — заглушал всех какой-то сиплый голос.— Возьмите челобитную. Эй, сволочи... Челобитная на имя государя...

— Заткнись,— лениво бросил стражник.

— Кровопийцы!.. Челобитную возьмите. Ни за что сижу... По злому навету... Эй!.. Огонь вас достанет на том свете...

Не замедлив шага, стражник прошел мимо.

За дверью, перед которой они наконец остановились, не раздавалось ни звука. Стражник отодвинул щеколду, толкнул дверь плечом. Утробно скрипнув, она отворилась, и Кабан вслед за стражником нырнул в черный проем.

Помещение было маленькое, не темница — мышиная нора. Кабан сразу же стал как вкопанный по левую руку от стражника, потому что дальше ступить было некуда: перед ними лежала на соломе женщина, рядом, прижавшись к ней, сидел мальчик. Драгун, пытаясь тоже войти, наткнулся на стражника, и тот, оступившись, чуть было не выронил факел.

— А, черт!.. Тебе-то сюда пошто надобно? — С трудом повернулся он в тесноте к драгуну.

— Мне при нем быть велено.

— Ну и будь. Держи факел, а я пойду.

Стражнику было на руку, что из этого заплесневевшего, затхлого подземелья, где воздух был сперт и тяжел, он сможет поскорее выбраться на свет божий. А здесь, в каморе Булавиных, было и того хуже: факел чадил, дышать нечем. И тесно — не повернешься.

— Ежели что, я наверху,— проговорил он и удалился.

— Дай мне.— Кабан протянул руку к факелу, взял его и, сделав маленький шаг — насколько было возможно,— наклонился, чтобы рассмотреть женщину.

Она лежала, накрывшись каким-то тряпьем, и различить можно было лишь ее лицо, бледное, с впалыми щеками. В глазах замер испуг: зачем пришли — расспрашивать, бить?

— Анна!..— глухо проговорил Кабан и не узнал своего голоса.— Я от Кондрата...

Она не шевельнулась, лицо все так же было наполнено испугом.

— От Кондратея, слышь...

Отблески факела в глазах ее дрогнули, с Кабана женщина перевела взгляд на драгуна и опять промолчала. Не шевельнулся, не обронил ни слова и ее сын.

«Не верят,— догадался посланец.— Дело понятное: со стражником пришел да еще драгун тут торчит».

— Ты вот что, милый,— сказал он драгуну,— иди отсюда тож. И без тебя дышать нечем.

— Ладно, постою за дверью. А факел верни.— Драгуну,

видно, страшно было остаться за дверью без огня, но отсюда, из мышиной норы, хотелось уйти: дышать и впрямь стало невмоготу.

Когда он вышел и даже дверь слегка притворил, Кабану показалось, что он очутился в полном мраке, но через некоторое время увидел: в углу светится крохотный огонек, поменее лампадного.

— Анна,— Кабан сел рядом с женщиной, заговорил совсем тихо,— ты не бойсь, я истинно говорю — от Кондрата, вот те крест. Кондратей сказал: передай горлинке моей, помню я ее и из беды выручу.

Дрожь волной пробежала по узнице. Верно, называл ее Кондрат горлинкой любезной, когда был добр и нежен. Чужому человеку такое враз не придумать, не угадать, коли сам Кондрат не сказал. Но ведь и Семка Ананьин своим прикидывался, а стал изменщиком, переметнулся, шкура продажная.

— А что я со стражей к вам пришел, на то не смотри,— говорил Кабан,— она ко мне к самому приставлена.— Он обернулся, поглядел на узенькую щель в двери, сквозь которую пробивался полоской свет факела.— Мальцу своему, Микитке, он велел передать пряник... На-кась, бери, бери... И еще свистульку вырезал... Куды я ее дел?.. Вот она... Эва тебе свистулька...

Не успел он закончить, как Микита выхватил у него из рук свистульку, поднес ко рту и в подземелье, где кроме криков, ругани и стонов ничто никогда не раздавалось, полились тонкие, переливчатые трели.

Микита оторвал от губ игрушку.

— Тятькина...— Он теребил мать.— Точно, тятькина... Им резана...

Женщина молчала.

— Али все не веришь? — вздохнул Кабан.

— Верю.— И заплакала.

— Ну будя, будя. Вызволит он тебя.

— Ты кто сам-то?

— При крещении нарекли Григорием, а все Кабаном кличут. И ты меня так зови, вернее будет.

— Кондратей-то мой как там?

— Живой.— Кабан старался говорить бодро.— Что с ним станет. Черкасск, вишь, взял, а там,— он опять оглянулся,— и к Белгороду приступит.

— Ой, не дождемся мы, помрем... Сгнием здесь заживо. Я-то уж, почитай, одной ногой в могиле... Больная вся: руки, ноги ломит, двинуться не могу. Куды уж там — пожила... Микитку бы спасти... Лишь за него бога молю.

Слушал ее Кабан и все о своей придумке размышлял, потому что настало для нее самое время. Настать-то настало, но он вдруг ясно увидел, какой она была наивной и несовершенной. Не смешно ли, он хотел вывести Анну и Микиту из подземелья, крикнув стражникам, прочь, мол, с дороги, увожу по велению воеводы, а там посадить пленников на лошадей (Микиту к себе, для Анны он уже в ближнем доме лошадь выторговал) и — в степь, поминай как звали.

Гладко и легко получалось в той придумке. Теперь все как с ног на голову перевернулось. Анна больна, шагу ступить не может. Приставленные драгуны зорко следят, их вокруг пальца не проведешь.

— Микитку... сынка спаси,— шептала Анна,— христа ради спаси...— И гладила, гладила Микиту, который затих, грызя сухой пряник.

— Повремени чуток,— с той же бодростью ответил Кабан, но тяжко ему становилось, мочи нет.

— Где уж там — повремени... Пропадет ведь. Сперва я, потом он.

— Как же вас сюда угораздило? — спросил Кабан, а сам напряженно думал, что бы сделать.

— Семка, змея подколодная, схватил. Ананьин... Схватил и привез.

— Ананьин? Есаул Кондрата?!

— Он самый. Сразу нас в темницу и бросили.

— В куски изрублю Иуду,— скрипнул зубами Кабан.

Он вскочил с места, будто сейчас ему и предстояло расправиться с предателем. Вгорячах порывисто шагнул — больно ушибся, ударившись о стену. И вдруг эта боль от ушиба словно подтолкнула его к действиям. Теперь Кабан знал, что сделает.

— Хочешь, я увезу его к отцу? — зашептал он, склонившись над женщиной.— Вот прямо сейчас.— Он положил руку на плечо мальчика.— Согласен?

Мать притянула к себе Микиту, обцеловала лицо.

— На все согласна... лишь бы живой был.

Кабан подошел к двери:

— Эй, служилый, ты где там?

— Все, что ли? — отозвался драгун.— Поговорили?

— Зайди-ка.

Драгун шагнул в комору.

— Чё?

Кабан упер в его грудь турецкий пистолет.

— Не двигайся. Тут же дух испустишь.

Драгун невольно попятился, но булавинец так ткнул его концом ствола, что служилый вскрикнул.

— Побойся бога. Что я тебе сделал?

— У меня, служилый, зла на тебя нет. Но хорошо запомни, что говорю. Мальца я забираю, а ты наверху скажешь: так, мол, велено воеводой. Поедешь с нами до ворот и дальше, покуда не отпущу. И упаси тебя господи шагнуть в сторону. Пистолет мой бьет без осечки. Ты уразумел?

— Уразумел, батюшка.— Страшен был драгуну этот крепкий казак с разбойничьим лицом, бельма вон какие, кровью налились, не человек — волк, пошто ему пистолет, он и зубами глотку перервет, не поморщится...



ВЫРВАЛСЯ

1

Из городских ворот они поскакали прямо по дороге. Но за первым же косогором Кабан взял в сторону, опасаясь погони, и теперь всадники пробирались тропой, вьющейся вдоль балки средь кустов терна и ежевики.

Впереди шел драгун на пегой лошади, за ним булавинец на своем аргамаке. Одной рукой Кабан поддерживал Микиту.

Мальцу было худо. Поначалу от яркого света болели глаза.
— Ой, не вижу ничто,— жаловался он.— Ослеп...
— Ты очи-то прикрой. Тебе покамест глядеть не надобно,— говорил Кабан.— Прикрой, слышь. Пущай они успокоются.
Боль в глазах и верно унялась, но самому Миките покойно не было. Вспоминалась мать, голос ее, руки, последние слова: «Микитушка, прощай, родненький... Не свидимся боле... Забери его с собой, Григорий,— мать силилась приподняться.— Забери... Ему жить да жить... Малой совсем, стригуночек».
Открывая по временам глаза, Микита с жадностью глядел на зеленую листву и цветущие травы. Да что там цветы! Ему на диво было видеть даже каменистую тропу, что бежала сейчас под копытами лошади. Там, в темнице, мальчику казалось, что в мире уже ничего нет, кроме мрака, гнилой соломы и двери, через которую иногда заходил стражник, принося хлеб и воду. А все остальное представлялось смутным.
И вот исчезли черные стены и смрадный запах, а перед глазами живой мир со степным теплым ветром, со звоном кузнечиков, с душистыми медовыми травами... И отец, которого он скоро увидит. Уж не сон ли это? Не просыпаться бы никогда.
Микита куснул себя за мизинец — больно. Стало быть, не сон.
Тропа привела их к речке. Из прибрежных зарослей с шумом вылетели утки. Микита от неожиданности вздрогнул, прижался к Кабану. «Малой еще,— подумал булавинец.— Что с него спрашивать?»
— Переходим на ту сторону,— сказал он драгуну.
Речка оказалась мелкой — лошадям по брюхо.
Над водой сновали синие стрекозы. Одна из них села аргамаку на гриву. Микита не удержался, попробовал схватить ее за крыло, не успел. «Малой»,— опять подумал Кабан. Впервые в жизни пришлось ему нянькаться с дитем, и чудно было вот так ехать сейчас вдвоем на коне, легче саблей рубиться, ей-богу. «Чего-то надобно делать,— думал он,— чтоб веселее мальцу было, не то сидит как пришибленный. В темнице намаялся, небось, все забавы позабыл, сердешный».
— Микитка, хошь скупаться? — спросил он, когда перешли речку.
— Не холодно?

— Да ты маленечко. На себя-то поплещи водицей — и ладно. А ты, служилый, слезай с лошади и садись вон подле самой воды.

Кабан помог Миките спуститься на землю и смотрел, как малец разделся и, сверкая белизной тела, осторожно ступал в воду.

— Чё боишься,— кричал он,— щуку?

— Ой, студеная! — засмеялся Микита.— Ой, не могу!

И оттого, что голос у мальца зазвенел, словно бы оттаял, Кабан почувствовал, как и ему, бывалому казаку с очерствевшей душой, стало вдруг легко и вольготно.

А Микита уже прыгал на воде, плясал, взметал тысячи брызг, вскрикивал, смеялся, будто сошел с ума.

— И впрямь, стригунок, а, служилый? — произнес Кабан.

Но драгун, казалось, не замечал ничего. Лишь коротко отозвался:

— У?

— Точно на луг выскочил.

— Угу.

Микита и сам не знал, что с ним творится. В него словно вселился неуемный куролес, он-то и подбивал выкидывать все эти коленца и заставлял смеяться. Нет, нет, виновата речка, которая так приятно обжигает ноги и руки. Виновато солнце — зачем оно светит сегодня так по-особенному, ярко. Виноваты брызги, которые, взлетая в небо, падают назад сверкающими звездами, отчего, когда смотришь на них, кружится голова. Все сильнее кружится. Уже ноги не держат...

И вдруг совсем тихо стало на реке. Малец упал, будто пулей подкошенный. Вода над ним сомкнулась, лишь круги побежали один за другим вдогонку.

— Микитка!..— Кабан бросился в речку.

Он сразу же нашел мальчика — его тело белым пятном отчетливо проступало сквозь воду.

И пока он нес Микиту, вглядываясь в бледное лицо, в котором не было ни кровинки, случилась еще беда. Драгун вскочил на лошадь, крикнул:

— Теперече, воры, держись!

И умчался.

Не мог Кабан бросить Микиту и пуститься в погоню. На берегу он приподнимал мальчика за ноги, надавливал на живот

и, лишь когда у Микиты побежала изо рта вода и тот, открыв глаза, непонимающе уставился на своего спасителя, Кабан сказал:

— Жив, слава богу... А служилого-то упустили. Убёг. Ладно-ть, давай одену тебя и — ходу отсюдова, покуда нас не словили.

Кабан боялся, что после купания, которое чуть было не закончилось плачевно, Микита и вовсе занеможет.

— Мать честная! — воскликнул казак.— На мелком месте, а, почитай, утоп.

Но к удивлению булавинца, Микита, напротив, стал держаться тверже, и его уже не надо было прижимать к себе рукой.

«Кабы спервоначалу таким был, глядишь, далече ушли бы,— размышлял казак.— Не ровен час, по следу кинутся. Долго ли догнать: аргамак несет двоих, не одного. Добрый конь, да не та прыть получается. Драгуны, небось, тоже не на клячах сидят...»

Он решил уйти с тропы и двигаться степью: там легче затеряться. Степь, как назло, потянулась открытая, ни кустика, кое-где горбились невысокие холмы. Но все же оставаться на тропе было опаснее.

— С богом,— произнес булавинец и поскакал по ковыльной равнине, то и дело оглядываясь.

2

Драгун — их было десятка два — он увидел, когда они поднялись на холм, чтобы оглядеть степь. Кабана они тоже приметили и сразу же погнали лошадей в его сторону. Хоть и далеко был тот холм, Кабан понял: догонят, окаянные, как пить дать — с мальцом быстро не поскачешь.

— Ты вот что, Микитка,— быстро заговорил Кабан,— ты останешься здесь, заляжешь в траве, а я отведу их...

— Как — отведу? — не понял Микита.

— Слушай, не перебивай... Отманю их в сторону. Меня не дожидайся, уходи отсюда. Иди на Черкасск. Там твой отец. В станицах не говори, что ты сын Булавина. Так, мол, и так,



тверди, бродяжничаешь, побираешься, тем и живешь. Ну...— Он хлопнул мальчика ладонью по плечу.— Держись, казак... Да, отцу расскажи про Ананьина. Сколько зла причинил, Иуда... Непременно все расскажи.

Кабан отводил погоню от Микиты, как птица отводит человека или собаку от гнезда. Он то подпускал драгун близко, так, чтобы казалось — еще небольшое усилие, и они возьмут его, то вновь отдалялся. К преследователям он все время держался спиной, дабы не увидели, что он мчится не один. На резвом скакуне он мог без труда оторваться от погони. Тогда бы драгунам не оставалось ничего, кроме того, как повернуть назад, но куда успел уйти Микита, далеко ли?

Через некоторое время отряд стал дробиться, и, когда проносились мимо станиц, пять всадников откалывались от него, чтобы сменить лошадей.

Так продолжалось довольно долго. Аргамак уже начал терять силы, драгуны, оказавшись на свежих лошадях, настигали.

«Не уйти»,— понял булавинец. Шум погони врывался в уши. Кабан представил, как озлятся служилые, увидев, что он без мальчика.

— Нет, псы, живьем не дамся,— выдохнул он, настегивая коня.

Аргамак выбивался из последних сил. Кабан хотел развернуть его, чтобы встретиться с врагами лицом к лицу. Не успел. В спину ему выстрелили.

Не сразу упал с коня булавинец. Вот уже начал сползать он с седла, кренясь набок, а рука все не отпускала уздечку, будто в нехитром ремешке держалась жизнь.

Упал, но в стремени застряла нога. Конь протащил его немного по земле и стал.

— Один?! Сволочь...— Подлетевшие драгуны в ярости били саблями бездыханного.

СУД НАД МАКСИМОВЫМ

I

Насупившись, Максимов осматривал свою просторную горницу. Непривычным и даже враждебным был ее сиротливый вид. Пол без ковров, стены без дорогого оружия, в поставцах пусто, их слюдяные дверки распахнуты. Он еще вчера распорядился, чтобы все ценное добро было вынесено и спрятано. Зачем? Будто знал, что в дом войдут чужие. Но ведь сам же говорил: отсидимся. Вслушивался в свои слова и хотел верить в них. Какая же проклятая, нечистая сила шепнула на ухо: «Убери, спрячь»?

И вот теперь привели Лукьяна в собственный дом, где как хозяин был уже другой человек, его враг. Он сидел за столом и мерил недобрым взглядом Максимова.

— Вели отпустить меня, Кондратей. Не тебе суд вершить.

— Ишь, птица-то важная,— усмехнулся Булавин.

— Войсковым атаманом меня круг выбирал.

— Развязать ему руки,— приказал Булавин и добавил, обращаясь к Максимову: — Не убежишь. А коли круг тебя выбирал, он же и судить тебя будет.

— Опомнись, Кондрат,— глухо молвил войсковой.— Царевы полки на Дон идут. Государь тебя не простит.

— Ты о моей голове не думай. Себя пожалей.

— Родню мою не трожь.

— С бабами не воюю. Вины на них нет.

— На мне тоже нет... перед государем.

— Перед народом будешь ответ держать.

— Перед которым — воровским?

— Стало быть, весь Дон — воры, а ты праведник?

— Я не один. Со мною люди.

— Продажные, навроде тебя.

2

Народу на майдане понатолкалось — из пушки не прошибешь. Многое видел широкий майдан, но такого, небось, не припомнит со времен Степана Разина. С тех пор, почитай, сорок лет минуло.

И уж коль скоро заговорили мы о Разине, надо сказать, что в Черкасске память о нем жила, как нигде. Конечно, по Дону — да что там! — по всей Руси ходили про Стеньку песни и предания одно другого краше. Но в Черкасске — вот уж диво! — Москва сама позаботилась, чтобы Разина не забывали. Вскоре после его казни царь Алексей Михайлович прислал в Черкасск разинские кандалы с наказом: прибить их к стене церкви, да чтобы каждый, кто шел мимо, бранил и поминал Стеньку анафемой.

А вышло все по-иному. Смотрел на ту стену слабый — сильней становился, смотрел старик — молодел душой, смотрел бедняк, нуждой придавленный,— расправлял плечи. И поминал Разина словом добрым и высоким. К тем кандалам часто клали цветы. Старшины не раз предлагали Максимову убрать разинские «железа», да как посмеешь, коли сам царь велел...

Сейчас на майдане судили атамана Войска Донского и старшин. Майдан шумел: страсти на кругу кипели, гнев захлестывал его через край.

Максимов стоял бледный. Никто не вступился за него, не сказал ни единого слова в его пользу. Нет-нет, поднимал войсковой голову, понуро вглядывался в толпу: лица враждебные, злые, чьи глаза встретишь — так и жгут. Рядом стояли старшины, тоже носы до земли уткнули. Куда подевались гордость и спесь? Ниже травы, тише воды. Не казачий цвет, а псы побитые.

Собравшийся круг решил: Лукьяна Максимова и тех атаманов, что жгли восставшие станицы и людей губили, предать смерти.

Максимов попытался подействовать на круг через Булавина. Сказал:

— Тебе, Кондратей, на руку меня жизни лишить. Сам желаешь войсковым стать, бунчук захватить, как захватил ты мой дом. Скажи вот при всем народе про дом. Хочу напоследок послушать, как у тебя язык повернется.

Поднял руку Кондрат, все затихли.

— Дом твой, Лукьян, я не себе взял, одному мне такой дом не надобен. Пущай станет казенным. И смерть твоя мне тоже не надобна. Как народ решит.

Максимов вскинул голову, обратился к кругу:

— Братцы православные, я такой же казак, как и вы. В чем вина моя? Коли государю служил, на то присягу давал. Присяга — дело святое, сами знаете...

Договорить ему не дали. Толпа гудела:

— Черту ты брат...

— Своему сундуку служил, добро наживал, а нас грабил...

— Рядится волк в овечью шкуру.

— Вздернуть его, как он велел казаков вешать...

Максимова и еще пятерых казнили.

Некоторых зажиточных старшин выслали из Черкасска, их имущество раздали бедным. Да еще разделили среди голытьбы двести тысяч рублей из церковной казны.

Новым войсковым атаманом круг выбрал Кондрата Афанасьевича. В булавинских есаулах оказался и Зерщиков: помнили в народе, как Илья заставил открыть ворота повстанцам, оценили по заслуге.



1

Первое, что сделал Булавин как атаман,— потребовал снизить цену на хлеб, дабы не было голода среди вольных людей.

Домовитые, что были близки Максимову, затаили зло. Сходились кой у кого, потихоньку гуторили меж собой.

— Что, донцы, казацкой жизни конец настал? Кондрат на благо мужикам порядки поворачивает.

— Не говори, кум, вскорости все мужиками станем.

— Истинно. Хочь соху заводи.

— Будя, атаманы, языки чесать. Не бабы. Думать надобно про то, как прежний устрой сохранить,— подал голос старожилый казак Соколов.

— Сам-то что скажешь?

— Скажу: собирайтесь сегодня вечером здесь же, да не вместе идите, по одному, а я человека приведу, тогда покалякаем.

На тайный сход Соколов привел нового булавинского есаула Зерщикова. Кое-кто насторожился:

— Илья?..

— Ишь какой гость припожаловал!

— Ты, Илья, пошто без Булавина? Нынче в друзяках с ним ходишь...

— Он и с Максимовым в друзяках был.

— Как же, водой не разольешь! А ворота голытьбе настежь...

— Расскажи, Илья, как ты Максимова боронил?

Спокойно снес все эти насмешки Зерщиков. Оглядел домовитых, улыбнулся.

— В сундуках-то у вас полно, а здесь пусто.— Он постучал по голове.— Лукьян был как древо подгнившее. Не Максимова я боронил, но Черкасск, ваш достаток, табуны и хлеб...

— Ну и что ты пришел нынче сказать? — спросил напрямик один из домовитых.

Зерщиков резко взглянул на него, глаза сузились.

— Хлеб надобно прятать, а не давать, почитай, задарма, как велит Булавин.

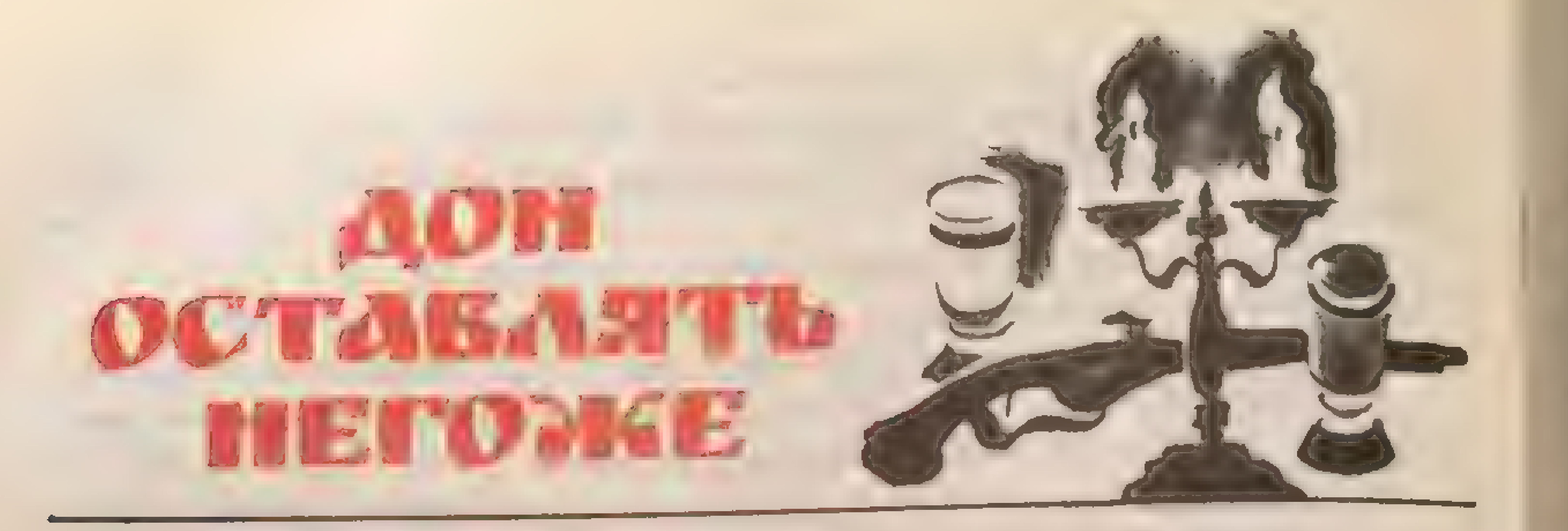
— Полно, Илья, нешто ты не с Кондратом?

— Булавин как заявился, так и сгинет. И мы тому пособить можем.

— Что?!

— Что слышали... Кондратей, как и все, из плоти и крови. А нам с вами держаться надобно один другого.— Илье хотелось сказать, что, мол, нужно держаться его, Зерщикова, но понимал: всему свое время, а поспешишь, можешь все испортить. И закончил по-иному: — Долгорукого, чай, не долго ждать. Недалече...

Молва о том, что царь покарает Булавина и что полки уже идут, так и разносилась по Дону, словно гнал ее какой недобрый ветер.



ДОН ОСТАВЛЯТЬ НЕГОЖЕ

1

Два дня гулял, шумел, орал песни, палил из ружей голутвенный люд по случаю выборов войскового атамана и новых старшин. Не по воле Булавина сей праздник закатили, так уж повелось исстари. Вместе со всеми на застолье Кондрат ел и пил, но благостного покоя в душе не наступало. Многие из новопришлых подсаживались к нему, говорили с участием:

— Ну вот, Кондратей Офонасьич, дождался, кормилец ты наш, сподобился.

— Ты чего? — хмурился Булавин.

— Как чего — войсковым стал. Ай не рад?

— Рад, шибко рад...

— То-то!.. А смотришь невесело.

— Ты на меня не гляди. Свое нутро весели... Налей-ка вон из кувшина...— отговаривался Булавин, а сам с горечью думал о том, что не все его понимают. Ну захватил он Черкасск, да еще как бы в придачу получил максимовский бунчук, но, видит бог, не для того он повел за собой людей, чтобы взять власть. Да, одержал он сейчас верх, но главные битвы впереди. Донская земля со всех сторон окружена царскими воеводами. Где взять силы, чтобы драться с ними? Где добыть ружья и сабли, свинец и порох? А хлеб? Чем накормить поднявшуюся голытьбу?

2

Булавин позвал к себе походных атаманов[1] Игната Некрасова и Семена Драного. Это был не военный совет, хотелось поговорить попросту: и с тем и с другим Кондрата связывала давняя дружба, сколько раз вместе землю степную копытили во всяких походах.

Непохожими они были, Игнат и Семен. Игнат — лицо красивое, точеное, невысок ростом, коренастый, как и Булавин, немного медлительный, никогда сгоряча не рубил, все взвешивал, обдумывал, но уж что решит — исполнит непременно. Семен — длинный, тощий, плосколицый, любил побалакать, но часто говорил не то, что на уме, а так, ради красного словца. Со стороны о нем кое-кто мог подумать: пустомеля. Зато люди, близкие ему, хорошо знали: сметлив и дальновиден Семен, а простачком прикидывается, ловит тех, кто, широко открыв рот, готов лаптем щи хлебать. С Булавиным Драный старался держаться достойно, не позволял себе напускного балагурства. Хотя иной раз срывался.

Ко всему он был отчаянно храбр, и казаки шли за ним в огонь и в воду. Семен уже успел сразиться с полками Долгорукого на Северском Донце, стоял заслоном перед царским войском, но силы были неравные, казачьи отряды понемногу отступали. И в Черкасск Семен прибыл не только для того, чтобы выбрать войскового, но и чтобы просить у Булавина людей, о чем сказал Кондрату сразу же, как только появился в городе.

— Сколько ж тебе надобно? — спросил Булавин.

— Дай мне столько, да еще полстолько, да еще четверть столько.

— Ты, Семка, не крути. Говори толком.

— Где уж крутить! — Драный тут же перешел на серьезный лад.— Чем больше, тем лучше. У Долгорукого что солдат, что оружия вдосталь. А у меня?.. Сам ведаешь. Плетью обуха не перешибешь.

— Добро, Семен. Погуторим после выборов, может, и не меня на круге выкрикнут.

— Коли меня,— прищурился Драный,— я тебя и просить не стану.

[1] Атаманы, избиравшиеся во главе войск на время похода.

— Договорились,— улыбнулся Булавин,— тогда ты даешь мне подкрепление.

Другой атаман, Игнат Некрасов, тоже нуждался в людях. Его отряды Булавин намеревался послать на реку Хопер, где каратели начали разорять казачьи городки.

Уж сколько времени Кондрат пекся о том, как пополнить свое войско, но сейчас, когда три сотоварища собрались вместе, разговор сперва повели о хлебе. Потому как воинство без хлеба — все одно что без пуль и пороха.

Едва лишь переступили Игнат и Семен порог, Булавин спросил:

— На базаре черкасском были?

— Были. Все есть: холсты, меха, воск, лошади, а зерна не видели. Как в воду кануло...

— И не увидишь. Прячут.— Булавин потер шрам на лице.— Не хотят нашим людям продавать.

— По низкой цене,— добавил Игнат.

— По низкой,— повторил Булавин.— А где голутвенные возьмут денег? Ну забрали мы церковную казну, поделили. По два рубля каждому досталось, надолго ли? — Он смолк. Затем вдруг произнес горячо, точно саблей рубанул: — Велю забрать весь хлебный запас в Паншине.

— Государев? — молвил Драный. И нельзя было понять, спрашивает он или уточняет.

— Был государев, да стал нашим.

— Заодно вели пригнать в Черкасск будары с хлебом из Донского городка,— предложил Некрасов.

— Верно, Игнат. На первое время хватит. А дальше? Мужиков-то к нашему войску вон сколько прилипло! Почитай, намного поболе, чем к Разину.

— В разинские времена все по-другому шло. Степан был как ветер — примчится, огонь раздует, боярские головы прочь — и поминай как звали, ищи ветра в поле.

— То-то! — Булавин встал, прошел по широкой горнице.— Завещал Степан Тимофеевич за волю и правду биться. А Дон оставлять нам негоже. Здесь мы родились, здесь наши дома, жены, дети...— сказал и, словно на бегу, остановился. Не хотел он при людях про семью вспоминать, да как-то вырвалось. Быстро закончил: — Здесь могилы отцов наших, здесь и нам помирать.



— Истинно говоришь,— кашлянул Игнат,— защищать Дон надобно да поднимать мужиков на соседних землях.

Булавин кивнул, но Игнат нутром почувствовал, что не слышал его сейчас войсковой атаман, видать, занозой впилась боль, как вспомнил про жену и дитё.

— Про твоих-то что слыхать? — спросил Игнат, дабы выдернуть ту занозу.

— А ништо. Послал я казака с письмом в Белгород — пропал, ни слуху ни духу. В колодках, небось, сидит, ежели жив.

— Кондратей!..— Семен даже привстал.— Говорил мне давеча один беглый солдат из Белагорода, будто казак твой Микитку из темницы вывел.

— Что ж молчал?!

— Думал, ты про то ведаешь.

— Что он еще сказывал?

— Ничего боле. Он и сам в тот день убег.

Булавин облокотился, ссутулившись, смотрел в угол. Но вот резко выпрямился:

— Был бы царь с нами, с казаками, подобру, нешто не служили мы ему верно? Вон война со шведом идет. Небось, солдаты надобны. Нет же, шлет на Дон своих воевод, земли наши прибрать норовит.

— Может, царю до нас и дела нет? А все — бояре,— отозвался Семен.

— Как же? А указы? — усмехнулся Игнат.

— Его именем правят,— ответил Драный.— У царя, поди, руки до всего не доходят. Он при армии. А всяких захребетников при дворе мало ли? Без его ведома и вершат...

— Тебе-то как знать? — прервал сотоварища Некрасов.— В Москве, чай, не был.

— Не я один, многие так говорят. Да в моем войске есть беглые с Москвы. То ж самое гуторят. А от них ништо не утаишь, народ зело дошлый.

— Царь есть царь. Он все должен знать и за все в ответе,— не соглашался Игнат.

— А я так скажу,— Булавин провел по бороде,— коли войска идут на нас, будем с ними биться, стоять за нашу вольность, а государю я письмо напишу и отправлю с гонцами. Пущай знает, что на Дону творится и чего мы хотим.

— Все как есть отпиши,— поерзал на месте Драный.— Разуй, мол, царь-батюшка, глаза свои. Порубай боярам головы, как Иван Грозный, прогони немцев, наведи порядок в государстве...

— Во-во,— усмехнулся Некрасов,— да еще припугни его: не то, мол, худо тебе будет от Семки Драного.

— Будя, односумы[1], шутковать,— строго взглянул на них Булавин.— Не время. Царю напишу непременно. Да не будем сидеть сложа руки и ворон считать, покамест ответ идет, но с еще большим усердием начнем собирать народ в наше войско. Ты, Семен, просил подмоги, сколько нынче в твоих отрядах?

— Четыре тысячи сабель.

Булавин задумался. У него сейчас было в Черкасске десять тысяч повстанцев. Но среди них много и безлошадных и безоружных. Конечно, необходимо дать людей походному атаману, иначе Долгорукого не удержишь. Оттуда, с Северского Донца, шла самая большая опасность. Некрасову, чтобы мог напасть на карателей, тоже нужно выделить тысячи две. С Волги грозит калмыцкий хан Аюка, ставший заодно с царскими воеводами. На Волгу лучше всего отправить атамана Никиту Голого. С каким войском? Тысяч пять потребуется, не меньше. Но и самому нельзя оставаться в Черкасске с пустыми руками. Правда, на помощь ему идут из Сечи запорожские казаки — три тысячи сабель. Подмога немалая...

— Тебе, Семен, дам три тысячи да еще столько же запорожцев, что не сегодня завтра прибудут...

3

Едва ушли Некрасов и Драный, в доме появился Лоскут. Его, как булавинского полковника, охрана хорошо знала и пропустила к войсковому без лишних расспросов.

Вдосталь было верных товарищей и советчиков у Кондрата Афанасьевича, а самым близким из них стал Лоскут. Булавин ценил его за ясный ум и рассудительность.

— Здравствуй, Иван! — шагнул навстречу старику Булавин.— По делу ай как?

---

[1] Односумы — товарищи по походам.

— Считай, по делу, Кондратей, а там, как сам знаешь. Принес я прапорец[1].

— Какой прапорец?

— Разинский. Степан Тимофеевич с ним по всем рекам хаживал. А зараз я хочу прапорец на шест прикрепить да поднять над твоим атаманским куренем. Пущай вьется, как во времена Разина.

— Добро.— Булавин разжег трубку.— Ты садись, Иван, покумекать с тобой надобно. Надумал я, вишь, написать царю письмо...

— Царю? — Старик положил трухменку на широкую скамью, сел.— Во здравии ли ты, Кондратей, пошто писать?

— А вот пошто. Слушай. Да закури сперва. На́ табачку. Напишу я Петру Алексеевичу примирительное письмо...

Лоскут слушал и сердито посасывал трубку. Нет, не верил он в доброго царя, именем которого творят бояре зло, а от него, российского государя, скрывают. Нет, не покарает он своих начальных людей за лиходейство. Давно ходили в народе такие сказки: царь, дескать, как узнает, заступится.

— И про то, зачем казнил Максимова и старшин, тоже поведаю,— внушал Булавин.— Да напишу, пусть не разоряет на Дону городки и станицы. А ежели, мол, придут к нам царские полки, не сложим оружия, а станем биться.

Иван лишь досадливо махнул рукой:

— Пустое. Может, думаешь, Кондратей Офонасьич, пригласит тебя государь в хоромы, посадит рядком, скажет слово ласковое? Вспомни Разина. Тоже думал открыть царю истину... Нет, для нашего брата одно у него уготовлено — плаха...

Не сразу ответил Булавин. Не такие слова хотелось бы услышать, но разве не справедливы они? Уж кого-кого, а старого разинца не мог он обвинить ни в скудоумии, ни в отсутствии прозорливости.

— Разговор с ним один может быть — на сабельках,— закончил старик.

— Письмо все же пошлем. Посмотрим, каков ответ царь напишет. А пока суд да дело, терять времени не будем. Наберем в отряды людей, да поболее.

---

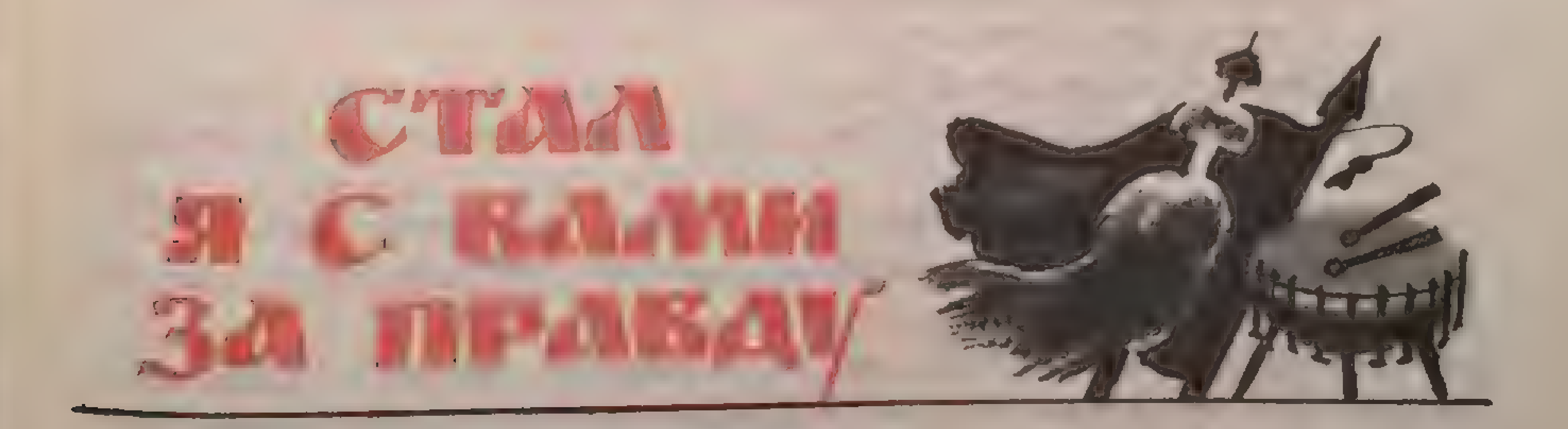
[1] Прапорец — знамя.

«Примирительные» письма были так же отправлены азовскому губернатору Ивану Толстому и губернатору Киева Голицыну. Булавин написал Толстому, чтобы тот вернул имущество казненных старшин, оно-де теперь войсковое, принадлежит всем. От Голицына Кондрат требовал отпустить Анну из белогородской темницы.

Но никто на письма не ответил. В Булавине Петр и его люди видели не атамана Войска Донского, но преступника-вора.

* * *

Майор Долгорукий одновременно с Булавиным тоже отправляет письмо — в Черкасск. Еще не зная, что Максимова нет в живых, князь поучает, чтобы тот пустил весть по всем городкам: царское войско идет быстро; пусть донцы поскорее приносят повинную, а станут противиться, будут «пожжены все без остатку».



1

И снова собрался на майдане круг. Тысячи повстанцев сидели, прижавшись друг к другу так тесно, что и ступить было некуда, ибо не мог широкий майдан вместить всех желающих.

С утра над городом навис зной. Ветер, вяло веявший из степи, прохлады не приносил. Он был сух и горяч, он впитал в себя запахи горьких трав, среди которых выделялся першистый запах полыни.

Казаки то и дело доставали огниво, запаливали трут, раску-

ривали трубки. От табачного дыма, казалось, меркнет выгоревшее солнце. Да оно и впрямь стало меркнуть: все заполняла пришедшая невесть откуда мгла.

Булавин встал на пустую бочку. Многотысячный гул голосов дрогнул, заколебался, стих. Теперь слышна была даже ленивая трескотня двух сорок на высоком тополе возле церкви.

— Братья казаки! — зычно выкрикнул Кондрат Афанасьевич.— Ведомо вам, что государевы полки идут на нас для разорения. От душегубов-карателей уже гибнут вольные люди на Хопре, Северском Донце, Волге. Горят городки и станицы. Слезами и кровью полита земля. Выбор у нас таков: либо стоять будем за волю до последнего вздоха, либо повинимся перед государем да наденем на себя хомут.

— Не за тем на Дон шли, чтобы сызнова в ярмо лезть,— отозвался кто-то.

Зашумел круг:

— С нас шкуру драть, а мы — на колени...

— Не бывать тому...

— Гнать надобно душегубов...

— Смерть им, проклятым!

— Веди, атаман, на бой!

Долго еще бурлил, клокотал круг, унять его не было никакой силы.

А сизая мгла в небе сгущалась. Ветер вовсе исчез. На тополе ни единый лист не шелохнется. Сороки, должно быть чего-то испугавшись, улетели.

— Тихо, казаки! — Булавин взмахнул саблей.— Про себя скажу так: коли стал я с вами за правду против боярского племени да прибыльщиков, с дороги этой не сверну.

Голос войскового атамана гремел. Казалось, не на черкасском кругу держит он речь, а говорит со всем Доном.

Хлынул дождь. Как из ведра. Будто небо теперь торопилось выдать с лихвой все то, что было земле недодано. Круг не расходился. Повстанцы кричали:

— Мы с тобой, атаман!

— Не быть вольному Дону на коленях!

— Все пойдем рубиться за волю!

— Веди нас, не подведем.

Лишь Иван Лоскут, что стоял рядом с Булавиным, будто

не видел, что лица у всех серьезные и суровые, шутя сказал:

— А может, атаман, еще напишем письмецо царю-батюшке? Глядишь, простит нас, грешных.

Хмуро посмотрел Булавин на разинца: в такой-то час писать. Спятил ты, что ли, старый? Да вовремя понял: подсказывает ему Иван, а не перечит.

— Про имя государя,— вновь загремел Булавин,— чтоб никто впредь не вспоминал. Повинную приносить не будем. И не батюшка он нам боле, ежели боярам потакает, а мы не дети его. По своей воле делать все станем, как надобно. Верно ли я говорю?

Круг словно взорвался. Что кричали, не разобрать. Лишь по лицам, возбужденным одним порывом, атаман понимал: народ с ним.

Булавин стоял на бочке. С бороды его струйками текла вода, но он, как и все, не замечал дождя. Перед глазами волновалось море лиц — родных, верящих в своего атамана беспредельно.

Ах, этот высокий миг единения, мало кому он выпадает! Чем отплатить за него? Кондрат готов был отдать жизнь.

Через несколько дней в городки и станицы Булавин разослал Указ великого Войска Донского, призвал всех подняться «против идущих на нас московских полков».

Из Черкасска выступили три войска. Первое повел Семен Драный на Изюм по Северному Донцу. Второе, во главе с Никитой Голым, пошло на Волгу, чтобы соединиться с отрядами Хохлача, который только что взял город Дмитриевск. Третье с Игнатом Некрасовым отправилось на Хопер.

Зато верных людей с их уходом в Черкасске поубавилось. Домовитые делали вид, что заодно с Булавиным, но сами выжидали свой час.

2

В дом к войсковому влетел Ананьин.

— Атаман, в Черкасске бунт! — Сжимая в руке пистолет, он несколько раз оглянулся на дверь.— Беглые голодранцы наших бьют. Вели стрелять в изменщиков. Такая смута поднялась...

Есаул быстрым движением стер со лба пот, глаза бегали как затравленные. В пустом доме зацепиться им было не за что. Невольно помнилось: здесь висел персидский ковер с мелкими узорами, шитый золотом, здесь из поставца выглядывали турецкие кувшины с длинными горлышками, там, в красном углу, висели иконы с дорогими окладами.

— Говори толком, кого бьют?

— Казаков. За хлеб. Хлеб, кричат, мол, попрятали.

Опять — хлеб! Булавин уже посылал людей с письмами на Украину и на Волгу: предлагал купцам деньги за зерно не хуже царевых. Боятся купчики, не везут. А из домовитых теперь хлеб и силой не вытрясешь, схоронили — сам черт не сыщет. Если голод настанет, поднимутся волнения, пойдут разлады в войске. Подсечь бы всех домовитых под корень. Да ведь многие примкнули к нему, к Булавину. Взять того же Зерщикова — преданный человек, помощник во всем, добрый советчик.

— Зерщиков тут?

— Не видал его со вчерашнего дня,— поежился Ананьин.

— Куда он пропал?

— Хотел покосы смотреть. С косарями договаривался.

— Незадача.

А между тем Ананьин только что виделся с Зерщиковым в курене одного из домовитых. Там-то и было решено: пора, самый раз покончить с Булавиным. И сделать это должен был Семен Ананьин.

— Смута, говоришь? — Булавин на ходу прицепил саблю, сунул за пояс два пистолета.— Ты что свой пистоль в руке держишь? Гнались за тобой?

— Гнались,— произнес Ананьин, радуясь, что выкрутился. Домовитые велели ему выстрелить в Булавина. А после выстрела они бы накинулись на охрану и выручили Ананьина. Очутившись у войскового, есаул хотя и вынул пистолет, но стрелять не решился: охраны оказалось больше, чем предполагали. Тысяча рублей была обещана Семке — куча денег! — да своя-то жизнь дороже. Понимал, что действовать он мог лишь наверняка, за промашку платил жизнью. А сейчас он не меньше Зерщикова хотел поскорее убрать войскового: из Белгорода Ананьину донесли, что малец булавинский, Микита, исчез. Как узнал о том Семен, похолодел.

— Где волнуются? — Булавин торопливо взглянул на есаула.

— У михайловского куреня, атаман.

Неспроста выбрали домовитые этот день и час, чтобы подослать убийцу к Булавину. Возле михайловского дома и впрямь волновался народ — хотел прорваться на двор, чтобы отобрать зерно. Богатый казак Михайлов вместе с братьями залег за бревнами, уготовленными для постройки мельницы, и кричал, что прошибет голову каждому, кто сунется.

Да и в других местах Черкасска недовольно гудела голытьба. Самый раз, считали заговорщики, расправиться с войсковым атаманом, коли смута пошла.

Булавин махнул Ананьину рукой:

— А ну, живо! — и метнулся к порогу.

Во дворе он вскочил на оседланную лошадь, крикнул:

— За мной! — и припустил.

Есаул и люди из охраны поскакали следом. Сколько всего с ним было, Кондрат не знал. И как всегда, если он слышал позади топот и всхрапывание лошадей, а спиной и затылком ощущал на себе взгляды сотоварищей, казалось ему: все одолеет, все переможет, лишь бы не один был, а там и сам черт не брат.

Заговорщики, увидя несущегося Булавина, пальнули по нему несколько раз. Но тут подоспела охрана. Домовитые рассыпались на конях в разные стороны.

У михайловского база Кондрат с ходу перемахнул через плетень.

— Стой, рванина! — заорал один из братьев, не узнав Булавина и ярясь на дерзкое вторжение.

И пока он наводил ружье, пытаясь выстрелить наверняка, Булавин, свесившись с лошади, ударил его саблей:

— В своих целите, псы ненасытные!

Старший из братьев, Никита Михайлов, над которым Булавин также занес саблю, истошно закричал:

— Опомнись, Кондратей!

Войсковой соскочил с коня, навалился всем телом на Никиту.

— Куда зерно подевал? — хрипел Булавин.— Говори зараз... придушу.

— Там... там...— выдавливал с трудом Михайлов, силясь оторвать булавинскую руку.

Зерно, отданное Никитой, голытьба тут же разделила меж собой. Но волнение унялось лишь после того, как Булавин объявил толпе, что государев хлебный запас уже через день-два прибудет в Черкасск.

СЕНО ПО ДЕШЕВКЕ



1

После Воронежа, где князь Долгорукий ненадолго задержался у адмирала Апраксина, правительственные войска остановились в казачьем городке Валуйки. Здесь майору донесли, что туда же движутся и отряды мятежников во главе с атаманом Драным. Более того, чтобы поддержать его, с Волги вернулся на донскую землю атаман Голый. Отряды их вот-вот соединятся.

Услышав эти известия, Долгорукий поморщился. В то время как на фронте грядут настоящие бои с овеянными славой шведами, ему предстоит сражаться с ордами воров. Ну прямо как сатана вмешался в его судьбу. Не дьявольские ли козни? Одни лишь имена чего стоят — Голый, Драный... С души воротит!

Но кому пожалуешься, разве не сам государь назначил его командовать многими полками и облачил особыми полномочиями? Разве перед ним, майором, не заискивал адмирал Апраксин, прекрасно понимая, что воля Петра несравненно выше всех чинов и званий? «Нет, любезнейший,— сказал майор себе,— не искушай судьбу. Пусть тащишь ты сейчас тяжкое бремя, но исполняй все достойно, дабы государь был доволен».

Долгорукий стал думать, где и как лучше встретить неприятеля. Ударить по нему здесь, в Валуйках, крупными силами? Но стоит ли вводить в бой все полки? Большие сражения впереди,

ведь он только начал действовать на земле Войска Донского. Не лучше ли выставить заслон в виде одного полка? Даже и один полк может задать хорошую трепку этому быдлу. Зато какой пойдет слух! Как остудит он разгоряченные головы донцев! На кого руку подняла, голь?! Падайте ниц и молите о пощаде...

Он велел позвать к себе командира Сумского полка Кондратьева.

— Чем располагаешь? — спросил князь сразу же.— Говори точно.

— Тридцать четыре рубля в наличии. А если потребуется, насобираю до ста. Кое-кто мне должен.

«Болван»,— выругался про себя Долгорукий. Полковника он знал: тот слыл офицером смелым и бывалым, но заядлым картежником.

— Я спрашиваю о численности полка,— пояснил князь.

— Одна тысяча двести человек,— вытянулся полковник.

— Сколько пушек?

— Четыре. К ним имеются изрядные припасы ядер, пороха и картечи.

— Готов ли ты приступить к боевым действиям?

— Хоть в сей миг. Какие будут приказания?

Нет, своей выправкой Кондратьев князю нравился; пусть картежник, но кто не без греха. Главное, храбр и решителен. А ведь, что говорить, среди офицеров немало таких, кого бог наградил лишь пороками и не снабдил никакими достоинствами. «Ежели Кондратьев,— размышлял князь, глядя на полковника,— после первой стычки с этим... как его, Грязным, Рваным... ох, да — Драным нагонит на него страху, то мятежники уже не будут в дальнейшем представлять опасности: страх убивает волю».

— Ты, полковник, станешь лагерем в пяти верстах от Валуек на реке Уразовой возле брода. С той стороны движутся отряды атамана Драного. Скажу прямо: воровских людей у него поболе, чем твоих солдат. Но кто на тебя идет — воры, бродяги, воинскому искусству не обученные, не под стать твоим драгунам. Что для тебя значит сия орда? Стадо баранов...

— Воистину, князь. В нынешних баталиях одним лишь числом виктории не одерживают. Шведы тому пример...

— Были примером,— поправил майор.— Не забывай, полковник, и о победах армии Российской. И это отрадно — над теми же шведами. Но полно говорить о достойном противнике. Перейдем с высокого на низкое.

— Что? — не понял Кондратьев.

— Вернемся, говорю, к предмету нашего разговора — к воровскому войску. Коли вступишь с ним в бой и противник побежит, долго не гони, не отрывайся далеко от Валуек. А ежели мятежников будет много и окружат они тебя, спокойно держи оборону и бей из пушек, я с полками подойду и ударю с тыла. Полагаюсь на твою доблесть и умение, полковник.

— Все исполню, как велено.— Откланявшись, Кондратьев вышел.

2

Сумской полк стал точно на указанном месте. Драгуны быстро раскинули палатки, на небольшом холме выбрали позицию для пушек, надежно укрыли обоз с припасами, отгородили загон для лошадей.

В ожидании противника прошло несколько дней. Отряды Драного не показывались. Не клубилась придорожная пыль от копыт воровской конницы, не оглашалась степь разбойным свистом и криками.

Тихо, тихо. Лишь потрескивают дрова у походных кухонь, да пчелы гудят в разноцветье, да свиристят кузнечики, да хрупают драгунские кони — паситесь, паситесь, ешьте вволю, где и когда пощиплете такой сочной, душистой травы. Уж кто-кто, а драгуны знают, что значит сытая лошадь. Понимающе смотрели они на косарей, которые появились однажды поутру: эх, какое сено будет на зиму!

В первый день косари работали на противоположной стороне оврага, что пролегал саженях в двухстах. На второй день они уже были ближе, а на третий перешли через овраг и принялись косить совсем неподалеку от лагеря.

Иные драгуны даже с завистью смотрели на косарей: давним мирным крестьянским укладом веяло от их работы. Косить, ворошить, метать стога — все это было привычным, близким, к чему просились руки и душа. Бросить бы к черту ружья, сабли,

пушки, да вот так выйти с косой в поле, когда еще прохладно, не печет солнце, не кусают слепни, а на траве столько росы — косишь и будто сыплются под ноги драгоценные камни.

Как-то задержал свой взгляд на косарях и полковник Кондратьев. Настроение у него было пасмурное: накануне он проигрался, и теперь все его мысли сводились к одному: где бы достать денег. Он смотрел на мерное движение кос, на траву, что ложилась ровными рядами, и думалось: вот они, мол, деньги, рукой подать. Из земли растут, сами к тебе просятся. Сено, сенушко... Какая же с ним морока зимой, в бескормицу. То оно есть, то днем с огнем не сыщешь. А сколько средств уходит на закупку. Сейчас оно ничего не стоит, а в зимнюю пору цены взлетят — ой-ой...

И вдруг дерзкая мысль пришла ему в голову: взять да скупить все эти стога за бесценок, ведь потом, через полгода, возьмешь за них сторицею. «Да полно,— остановил он себя,— выйдет ли толк? Эх, была не была!..»

На третье утро полковник, обуреваемый желанием получить изрядную прибыль, отправился к косарям, дабы выяснить о цене и поторговаться. Он взял трех солдат и вместе с ними пошел не спеша пешим ходом, обдумывая, как надежнее все устроить. Кондратьев мог бы прихватить с собой побольше народу, но лишние свидетели были ни к чему. Он и этим-то велел остаться в сторонке, когда приблизился к покосу. Некоторое время он стоял и молча поглядывал на косарей. Они, казалось, не замечали его, занимаясь своим делом. Но вот один из них — высокий, сухопарый, у которого коса так и поигрывала — перестал работать, вытер мокрое плоское лицо и произнес:

— Глянь, братцы, какой гусь припожаловал!

Это было сказано негромко, но полковник уловил. «Гусь! — резануло слух.— Скоты. Отобрать — и все дела. Да еще кнутом всыпать...» Но поднимать шум не хотелось: дойдет до князя — пропала вся затея. Кондратьев сделал вид, будто не слышал обидного слова.

— Здорово, мужики! — сказал он и сразу же понял: зря он так, надо бы назвать их либо атаманами, либо казаками. Вон как искоса смотрят. Поспешил добавить: — Гляжу, сено будет доброе... Я бы купил.

Подошли другие косари. Один из них спросил:

— А много ль тебе, боярин?

— На полк.

— Полк полку рознь,— заметил высокий косарь.— Сколько сабель?

Кондратьеву вопрос не понравился. Неужто простой мужик захочет выведать самую что ни на есть важную в армии тайну — о численности войска.

— Что есть, все мои,— сказал полковник.— В то дело свой нос не суй.

— Тебе, боярин, надобно сено, не нам.

— Так по скольку возьмете за пуд? — Кондратьев оглядел окруживших его казаков.

— Семка, почем будем брать с боярина? — подмигнул длинному седоусый казак.

— Возьмем, что даст.— Длинный вдруг изобразил дурашливую рожу.— А что не даст — тоже возьмем.

Косари загоготали.

— Ну ты, шут, говори, да не заговаривайся.— Полковник, вспыхнув, схватился за пистолет.

— Ой, напужал, боярин! — Длинный вытаращил глаза.— Кто, браты, знает, что делают с этим кривым сучком?

— Сейчас узнаешь. Эй, ко мне! — крикнул Кондратьев солдатам.

Он хотел направить пистолет на длинного, но тот молниеносным ударом ткнул полковника косой в бок. Уже падая и судорожно хватая ртом воздух, Кондратьев мельком увидел, как из оврага вылетела конница.

— Коня — живо! — кричал длинный.

Семену Драному подогнали коня, и через миг атаман уже мчался среди своих казаков к лагерю Сумского полка. Следом, нахлестывая коней, скакали «косари».

Но этого Кондратьев видеть не мог: он лежал на спине, глаза его недвижимо уставились в белое пушистое облако.

Атака на лагерь в то раннее утро была столь неожиданной, что драгуны даже не успели вскочить на лошадей.

Полк был почти весь перебит. Повстанцы захватили обоз, пушки, коней.

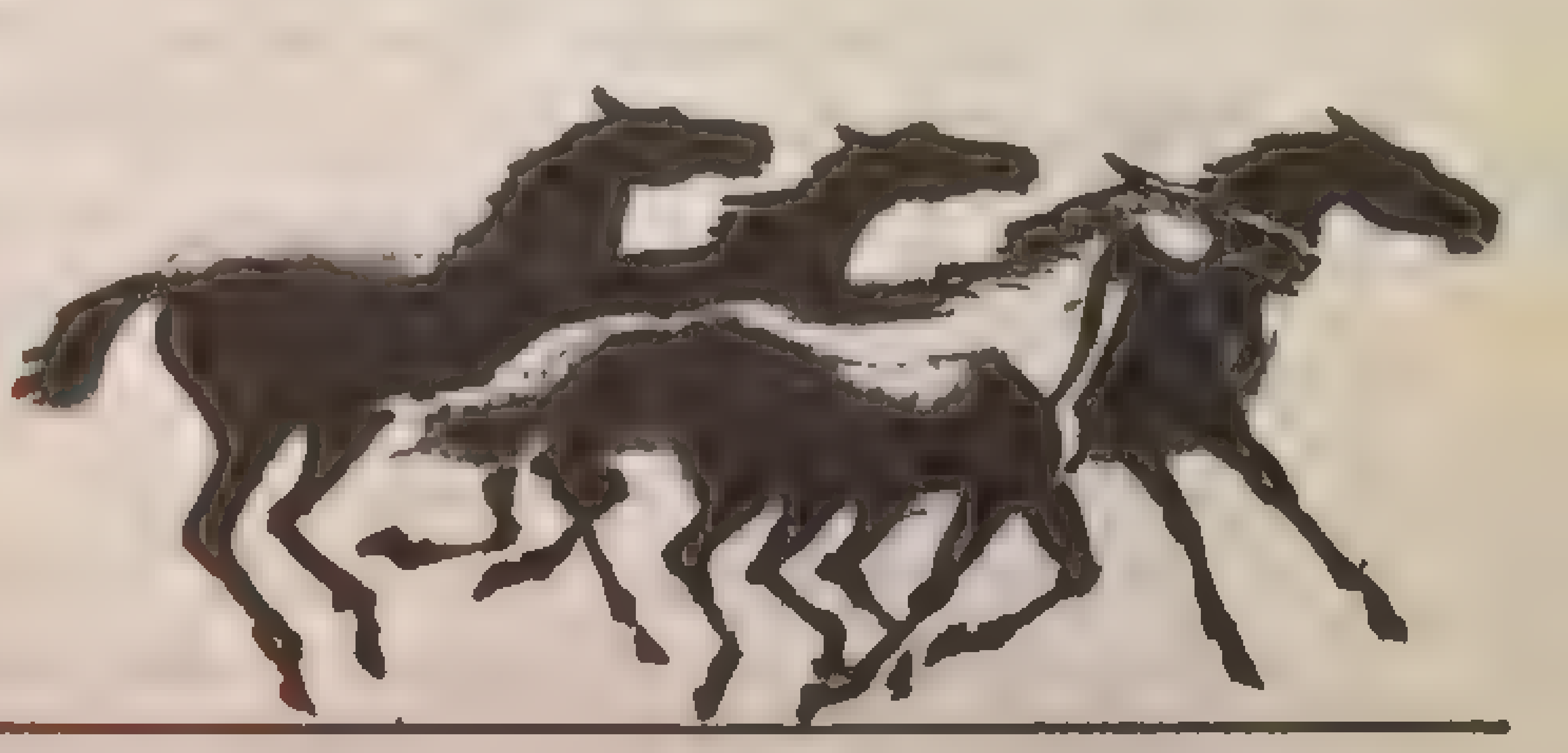
— Ай, братцы,— радовалась казачья голытьба,— знатно дали по зубам Долгорукому!

— А все — Семен. Кабы не косы, глядишь, не подойти нам так близко.

— Ладно придумал, черт длинный.

После разгрома сумчан Долгорукий на некоторое время задержался в Валуйках, ждал подкрепления.

ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ



I

Бои, сражения, стычки... Каждый день полнился новостями. Не успел Булавин нарадоваться победе Драного, как принесли ему другую весть, отчего атаману стало худо, будто ядом опоили: войско его лишилось табунов. Домовитые отогнали их ночью к Азову.

А было так.

...Темень стояла непроглядная, хоть глаз коли. Народившийся месяц, что повис в небе серебряным коготком, не давал света.

Табуны Войска Донского, как всегда, паслись в ту ночь в степи. Все заполнила тишина. Слышно было лишь, как пофыркивали кони да где-то подавала свой скрипучий голос беспокойная птица коростель.

Еще вечером, когда догорал закат, табунщикам удалось подстрелить двух гусей. И вот теперь пастухи собрались у костра, над которым булькал казан,— варились гуси. Все слушали беглого рябого солдата, немало повидавшего в своей бедолажной жизни. Он и под Нарвой воевал, и корабли строил на верфях, и в бурлаках был.

— Слышь, служилый, а на шведа идти страшно?

— По мне, один черт, на кого идти, ежели из пушек палят.

— Но швед-то, поди, он особый?

— Как и все — голова, два уха.
— Чего же его царь Петр побить не может?
— Дак где не может? Бивал не един раз.
— А сказывают, король их Карла больно силен.
— Силен, как пить дать.
— Слух был, будто Карла на Москву прет, а?
Солдат прикидывал, как ответить, он уже год бродяжничал, знал не больше других, но все же согласился:
— Прет, окаянный.
— Глядишь, захватит Москву-то?
Теперь уже служилый сказал уверенно:
— Кишка тонка.
— А чё?
— А то.— Солдат начал загибать пальцы: — Припасы Карле надобны, а где возьмет? До Москвы путь долгий... На марше его бить будут? Будут. Кем он пополнится?.. Некем. А московские фортеции, думаешь, из соломы сделаны? Как ни так! Попробуй-ка разбей их.
Спорить с солдатом никто не решился. Табунщики помолчали, но вот один из них, Пашка, робко спросил:
— Ты царя видал, служилый?
— Видал. Очьми вращает, будто искры сыплет. Роста огромадного, в плечах не широк, да силушкой бог наградил — кулаком лошадь зашибает.
— Лют?
— А то. Под горячу руку не попадись. На меня как взглянул, аж все внутрях закаменело. Думал, душа вылетела.
Солдат врал: Петра он видел лишь издали, но чем еще мог выделиться служилый, а показать себя ой как хотелось.
— А пошто он на казаков зело взъелся?
И опять солдат не знал, как ответить, но выручил старший табунщик:
— На царя Меншиков порчу напускает. Анчихрист он, сказывают, а?.. Говорят, никогда в мыльню не ходит: раздеться нельзя — люди копыта увидят.
— Не слыхал,— отозвался солдат.— Но при царе он точно хвост. Как привязанный. И про Петра меня боле не пытайте. Молва идет, будто он сам на Дон с войском подался. Потерпите, скоро лицезреть сможете. А у меня на то хотения нет...

— Постой. Коли, говоришь, Карла на Москву зубы точит, какого рожна Петру с войском до нас идти?

— У царя и пытайте,— солдат повел носом в сторону кипящего казана.

Старший табунщик попробовал деревянной ложкой варево:

— Соли-то, Пашка, подбавь, не скупись.

— Где взять? — Пашка руками развел.— Нетути.

— Ты у себя в суме-то поройся,— вступил в разговор еще один пастух,— а хошь, давай я сыск устрою.

— Ишь, сыщик нашелся.

— Да ты не бойсь. Завтра отдам.

— Будет препираться,— опять заговорил старший табунщик.— Давай, Пашка, соль. Тебе подобру...— и вдруг умолк, прислушиваясь.— Чу!.. Едет кто-то сюда. Слышь, кони топают. Эй! — закричал он.— Стой!.. Стрелять буду.

Все табунщики тоже схватились за ружья.

— Свои,— откликнулись из темноты.— Погодь, подъедем.

— Подъезжай, покамест один.

В свет костра вскоре вступил всадник.

— Атаман Зерщиков я. Узнаешь?

— Точно, он. Илья Зерщиков.— Старший отставил ружье.

— Вы все здесь? — Атаман обвел взглядом собравшихся у костра.

— Трое на той стороне,— кивнул старший.

— Отправь кого-нибудь за ними.

— Пошто?

— Ты выполняй, что велят. Дело есть.

Из тьмы тем временем выступили остальные, кто был с Зерщиковым,— человек двадцать, при оружии.

Атаман шагнул к костру, посмотрел на казан, принюхался.

— Снимать пора,— заметил,— переварите.

— Сымем.

Когда все пастухи собрались, старший проговорил:

— Что за дело, сказывай?

— А вот что...— Зерщиков выхватил саблю и с силой наотмашь ударил табунщика.

Тотчас полегли под саблями и остальные пастухи. Охнуть не успели.

В ту же ночь табуны были отогнаны.

Когда азовскому губернатору Толстому доложили о захваченных табунах, он радостно воскликнул:

— Свершилось! Безлошадных-то казаков голыми руками возьмем!

Булавинцы, оставшиеся в Черкасске без табунов, и верно оказались теперь будто связанные по рукам и ногам.





СИГНАЛЫ ФАКЕЛОМ

1

На базу выла собака. Тягуче, горько, безысходно.

Булавин дважды выходил к ней. Первый раз бросил кость — собака лишь повела мордой в его сторону, на кость не взглянула. Во второй раз он вышел с пистолетом, чтобы пристрелить ее. Собака шмыгнула в дыру под плетнем. Но вскоре опять прибрела на баз. Вновь завыла.

У Булавина сидел Иван Лоскут.

— Зараз из окна пальну,— поднялся с лавки Кондрат.

— Оставь ее.

— Максимовская стерва. Беду наводит.

— Не вымещай, Кондрат, на собаке.

— И то верно.— Булавин устало опустился.— Хуже не быть.

От походных атаманов вести шли неутешительные. Повстанцы осадили несколько городков, но взять не могли. В Царицыне им удалось захватить старый город, но воевода и гарнизон засели в «малой крепости» и стойко держались. Атаманы Хохлач и Некрасов окружили Саратов. Но когда ринулись на приступ, сзади на них напал крупный отряд калмыков. Пришлось отойти вниз по Волге. Семен Драный делал отчаянные попытки отбить

у царских полков городок Тор — и тоже безуспешно. А нынче прилетела самая страшная весть: войско Драного разбито в урочище Красная Лука, сам атаман погиб — в него угодило ядром.

— Что делать будешь, Кондратей?

— Сидеть, Иван, сложа руки неможно. Не то ударят нас с двух сторон: со спины — Толстой, спереду — Долгорукий. Я отозвал ужо Хохлача и Некрасова. Пущай на Азов пойдут.

— Поболе бы людей. Азов — город крепкий.

— Про то я ведаю.— Булавин не спеша вынул саблю, потрогал ногтем острие.— Пять тысяч солдат.

— И, почитай, две сотни дробовиков да пушек на стенах,— добавил разинец.

— А про пушки на морских кораблях забыл? — Кондрат кинул саблю в ножны.— Бомбардиры бьют с них отменно.

— Вот я и гуторю, тяжко будет нашим.

— Писал я кубанцам. Обещались прислать подмогу.

— Улита едет, когда-то будет.

— Эх, Иван! Да неужто не болею я душой за Игната и Хохлача. Заместо них на азовские стены полез бы. Да сам знаешь, оставь Черкасск — домовитые тут же в свои руки приберут.

— Истинно. Ждут любого послабления.

— И Азов костью в горле сидит. Пора с ним кончать.

— Пора-то пора. Как одолеешь?

— Илья тут кой-что удумал.

— Зерщиков?

— Он самый.

И Буланов рассказал Лоскуту о давешнем разговоре с Зерщиковым. Илья уверял, что в Азове можно поднять голытьбу: полно ссыльных, каторжан, колодников. Он-де уже нашел надежных людей. Когда войско подойдет к Азову, они дадут знать о начале восстания — нужно лишь приблизиться к тем воротам, о которых будет уговор.

— Надежных людей, говоришь, сыскал? Пущай Зерщиков приведет их, а мы посмотрим.

— Нет, Иван. Пошто смотрины устраивать? Недосуг... Некрасов и Хохлач с Волги ушли, уже к Азову подходят. Я инако мыслю: хочу, дабы Зерщиков к тем людям моих приставил.

— Меня пошли.

Булавин покачал головой.

— Чё, Кондратей, стар, скажешь? А ну, давай на кулачки! — Лоскут озорно улыбнулся.

— Давай, — сказал вподначку Булавин. — Но сперва Толстого побьем, не то ему делать нечего станет. А коли всерьез — не хочу тебя, Иван, отпускать: ты мой полковник, знают тебя повсюду. Надобно послать людей неприметных.

Опять завыла собака.

— Цыц!.. Подлая... — Булавин высунулся в окно.

— Будет тебе, Кондратей. Зови Зерщикова, про Азов вместе покумекаем.

2

Уж кто-кто, а губернатор Толстой не раз имел возможность убедиться — про всех казаков не скажешь: одним миром мазаны. От Азова до Черкасска рукой подать, хорошо видно, что в казачьем гнезде творится; не то что из Москвы или Петербурга поглядывать.

Вот и теперь прибыла в Азов кучка казаков — всего-то восемь человек, — и тут же резня меж ними учинилась. Половина полегла, ножами поколотая. Что же выяснилось? Люди Зерщикова накинулись на приставленных к ним булавинцев, а потом стали требовать: «Ведите до губернатора. Дело у нас великой важности, скороспешное».

Отобедав, Толстой, по обыкновению, на час-два ложился спать, и потому слуги беспокоить его не решились. С четырьмя казаками он переговорил, лишь когда выспался.

Разговор этот мгновенно рассеял послеобеденную вялость губернатора. Перво-наперво он приказал всыпать слугам за то, что не подняли вовремя. Затем отправился к восточным воротам, чтобы лично проверить, как расставлены пушки, велел добавить сюда еще три десятка — перетащить со стороны гавани и с южных ворот.

Вслед за этим он созвал своих офицеров, а также командиров кораблей на военный совет.

— Господа, над Азовом нависла угроза, — сказал он, — и потому мы должны быть готовы исполнить наш долг. Я не собираюсь призывать вас, дабы проявили вы отвагу и храбрость. В ваши достоинства я верю и без того. Убежден, что в грозный

час вы рады снова показать свою преданность государю,—он поднял вверх указательный палец,— и отечеству...

Все, кто был на совете, знали: по части торжественных слов губернатор был мастак, и поначалу слушали его не очень-то внимательно. Иные даже недоумевали: неужто Толстой собрал офицеров, чтобы вновь поупражняться в верноподданических излияниях. Но вот, кажется, дело дошло и до сути.

— Воровские отряды булавинцев намерены штурмовать нашу фортецию. Полагаю, дней через пять они будут здесь. Гарнизону надлежит разместиться не токмо на стенах и у ворот, но и по всему городу. Особо надобно следить за скоплением черни. Есть сведения, что каторжники и ссыльные попытаются учинить бунт. Ежели признаки сего воровства будут обнаружены, без промедления стрелять по мерзавцам картечью. Булавинцы предпримут штурм со стороны восточных ворот. Стало быть, кораблям должно развернуться так, чтобы все они могли вести огонь из бортовых пушек. Боле всего, господа, надеюсь на бомбардиров...

Теперь губернатор говорил четко, определенно, то, что необходимо было знать. Изложив план действий, он выждал немного, произнес:

— Все ли вам ясно, господа?

Он всегда так спрашивал, заканчивая разговор с подчиненными. При этом он не только проверял, как его поняли. Губернатор считал, что ему представлялась возможность лишний раз понаблюдать за ними, дать им оценку, что было для Толстого немаловажным: он мнил себя знатоком человеческих душ.

— Не будет ли распоряжения подвезти к пушкам поболе ядер и картечи? — подал голос майор, ведавший артиллерией.

«Дурак,— подумал губернатор,— неужто сам не разумеешь?»

Но вслух сказал:

— Похвально, майор, что заранее печешься об успехе дела. А ты что молчишь, воевода?

Азовский воевода Степан Киреев был человек осторожный, сдержанный, натуру Толстого хорошо знал: скажешь ему что по простоте, а он же тебя и высмеет при всех.

— Ты, батюшка, как надумал на свое усмотрение, так и ладно. Уж чего тут говорить!

«Истуканом был, таковым и помрешь»,— отметил губернатор.

— А не выйти ли навстречу воровским отрядам? — молвил полковник Васильев.

Толстой ответил не сразу. Предложение показалось ему небесполезным. Некоторую трепку не мешало бы дать мятежникам перед тем, как они сунутся на штурм.

— Вот ты,— сказал он Васильеву,— и поведешь своих людей на Каланчу[1] к броду, помешаешь переправе.

— Одним полком?

— Большого боя не устраивай. Побей передних, коли полезут пуще — отходи. Что еще скажешь?

— Исполню, как велено.

— Дерзай.— Губернатор взглянул на морских офицеров.— Пошто сидите, в рот воды набравши?

Один из капитанов спросил:

— А ежели воры кинутся к южным воротам? С наших пушек там не достанешь.

Ах, как ждал Толстой этого вопроса! Благодаря ему он мог вновь утереть всем нос, показать мелким тупоголовым людишкам, сколь далеко им до своего губернатора. Он не стал говорить, что навяжет противнику именно восточные ворота, и объяснять, как это сделает. Пусть считают его семи пядей во лбу, провидцем, предрекателем.

Ответил так:

— Я повторяю: воры будут штурмовать восточные ворота. Попомните мое слово.

3

Игнат Некрасов ехал впереди войска. Неприкаянно было походному атаману. Мысли ворошились невеселые, да и степь — куда ни взгляни — глаз не радовала. Трава на солнце порыжела, повыгорела, небо линялое, воздух — как из печи.

Азов... Азов... Что за город лиходейный! Мало ли косточек казачьих покоится у его стен? Вот уж где повоевали с турками! В последний раз отбили крепость для российского царя Петра. Давно ли? Двенадцать годков, поди, минуло. А ныне настала пора — против царевых же воевод за Азов бейся. Там и раньше

[1] Каланча — приток Дона неподалеку от Азова.

ой горячо было, на сей раз, глядишь, будет паче прежнего. Правда, Булавин прислал гонца, сообщал: среди ссыльных стрельцов готовится бунт, но о том жди, мол, вестей дополнительных...

Когда до Каланчи оставалось верст пять, посланная вперед разведка привела двух казаков, они хотели видеть Некрасова либо Луку Хохлача.

— Чего вам? — спросил Игнат.

Казаки помялись, хотя и узнали походного атамана.

— Али язык проглотили?

Один из приведенных посмотрел на людей, что окружили Некрасова, сказал:

— Ты, атаман, не серчай. Разговор у нас тайный.

И второй казак добавил:

— С глазу на глаз.

Некрасов велел отойти всем в сторону.

— Выкладывайте, за какой надобностью?

— Значит, так, атаман,— начал первый,— на Каланче возле брода стоит цельный полк рейтаров, тебя поджидают.

— Добро,— кивнул Некрасов,— ждать недолго осталось. Благодарствую, да разведка мне о том донесла. Сами-то откуда?

— С Азова мы. От стрельцов.— Казак заговорил совсем тихо: — Наказывали, чтоб ты приступал к восточным воротам. Тебе их откроют. Как начнут стрельцы воеводских солдат побивать, сразу же откроют. А ты на выручку поспешай: со стены тебе знак дадут.

— Какой знак? — возрадовался Некрасов.

— Зажженным факелом махнут три раза вот так — вверх-вниз.— Он показал движение рукой.

— Добро. Вы-то куда теперь?

— Назад ворочаться надобно. К стрельцам.

— Поезжайте.— И уже, глядя им вслед, тихо добавил: — Дай-то бог.

4

Отпустив лазутчиков, Некрасов приостановил движение своих отрядов. Он дождался Хохлача, и два войска, объединившись, пошли вместе.

Возле реки, за которой стоял рейтарский полк, Некрасов распорядился подтянуть повозки с легкими пушками поближе к переднему краю, но так, чтобы их не было видно за первым рядом конников.

Не предвидя подвоха, полковник отдал приказ: напасть на булавинцев лишь тогда, когда через брод переберется примерно сотня. Васильев считал, что удар будет резок и беспощаден, он посеет панику среди воров.

Мятежники, плотно вышедшие на берег, будто замерли. «Не решаются, черти,— подумал полковник.— Либо хотят, чтоб я сам пошел на них. Как бы не так! Постоим. Спешить некуда».

Но вот он увидел, как с флангов, словно обтекая первый ряд, к реке двинулась конница Луки Хохлача. Васильев приказал рейтарам расступиться — образовать проход. «Смелее, смелее,— мысленно подзывал он булавинцев, сжимая серебряный эфес,— заждались мы вас, гостюшки...»

Хохлач понимал, на что шел: втянись в этот проход меж рейтарами, и уже не бой будет, а избиение — стиснут с двух сторон да изрубят в единый миг. Подумалось о Некрасове: «На тебя, Игнат, вся надежда. Гляди в оба, милый...»

Как в полымя, нырнули конники в узкое пространство, оставленное солдатами.

— Дави псов бродячих! — крикнул Васильев, выдергивая саблю.

И тут, словно по его команде, ударили пушки с того берега. Они, откуда-то взявшиеся так неожиданно, с близкого расстояния били по самой гуще рейтаров. Всё будто с ног на голову перевернулось: на две половины расчлененного полка сыпались ядра и картечь, а в середке рубились как бешеные казаки Хохлача. Не выдержав, рейтары бросились прочь из этого ада. Без треугольной шляпы, сбитой чьим-то ударом, скакал с ними — благо, что жив остался,— полковник Васильев.

Вслед за Хохлачом переправилось через реку все войско. Путь на Азов был открыт.

Вечером того же дня с городских стен можно было видеть сотни костров: булавинцы расположились на ночевку.

Губернатор Толстой разглядывал костры в подзорную трубу и, хотя верил он в свою уловку, жутко было ему смотреть на это сонмище огней.



5

Первые лучи солнца еще не коснулись стен крепости, а повстанческие отряды уже начали стекаться к Деловому двору, от которого было близко к восточным воротам. На Деловом дворе высились горы бревен и досок, местами же были сплошные завалы леса. За ним шла Плотницкая слобода, примыкавшая к стенам города. Это был уже не прежний Азов, что отвоевывали у турка. Крепость стала мощнее, со всех сторон обросла многолюдными слободами. Сейчас, правда, в них было пусто: губернатор приказал всем слободским войти в город — опасался, как бы не присоединились к повстанцам.

Некрасов прислушивался, не начнутся ли за стенами шум, ружейная пальба, крики — все то, что должно быть, если бы поднялись против властей стрельцы и городская голь.

Крепость притихла, напоминала атаману затаившегося зверя. Когда же он выскочит из своей засады, чтобы можно было с ним сразиться? Тишина пугала. Ожидание удара страшнее, чем сам удар. «А ежели не смогли бедолаги восстать? — думал Некрасов.— Пора бы уж. Ведь говорили лазутчики: все, мол, поутру станется, на заре...»

Одиноко пальнула пушка с надвратной башни — ядром снесло несколько бревен на Деловом дворе. Вслед за ней заговорили другие пушки, но как-то вяло, недружно. Их огонь вреда не приносил.

Не пытаясь уже что-либо расслышать сквозь грохот, Некрасов теперь до боли в глазах вглядывался в гребень стены, с которой ожидал сигнала, но видел лишь пушкарей, снующих возле орудий.

— Не так страшен черт, как его малюют! — Хохлач подмигнул Некрасову.

— Выдюжим,— отозвался Игнат.

— Не впервой.

Правда, пока что отряды булавинцев удобно расположились среди слободских изб и лесных припасов Делового двора. Но дальше, к воротам крепости, нужно было подбираться через обширный пустырь, на котором нигде не укроешься, не спрячешься.

— Голо, как на ладони.— Некрасов кивнул на пустырь.

— Ништо,— сказал Хохлач,— до ворот скорей добежим, без помехи.— Черные глаза его под густыми бровями сузились, на скулах дрогнули желваки.

— Нам бы еще сюда Кондратея с людьми, веселей было бы!

— Потерпи, Игнат, зараз и так весело станет, в сумнительстве не держи... Да ты глянь, глянь — не знак ли?

— Воистину.

Человек, появившийся на стене, сделал точно те самые движения факелом, которые показал Игнату лазутчик.

— Ну, браты,— выдохнул Некрасов,— пошли.

Стегнув лошадь, он вылетел на пустырь, и за ним с разных дворов слободы густо повалила конная рать.

Вот когда враз ударили все пушки со стены. Еще, еще, еще... Перепуганные, ошалевшие кони теснились в кучу, хрипели, падали, теряли срезанных картечью и ядрами седоков.

— Держись, братцы... Держись! — вертелся в седле Игнат.— Зараз откроют ворота...

Но кто слышал атамана? Разве лишь два-три казака, которые прилепились к нему в слепом страхе. Зато ударили как бы в ответ новые пушки с кораблей. Стрельба их была плотной, мощной.

У Некрасова ядром убило лошадь. Опрокидываясь, она чуть не подмяла атамана, но тот успел соскочить и сразу же пересесть на другую, оставшуюся без седока.

Под перекрестным огнем повстанцы отступили на Деловой двор.

Хохлач, весь черный от пыли и дыма, с трудом разыскал Некрасова.

— Игнат... Жив...— задыхаясь, проговорил он и плюхнулся рядом с Некрасовым, который лежал за толстым бревном, выставив ружье. Около атамана залегли казаки, также направив ружья на узкий, расчищенный от завала проход.

— Слухай, Игнат... Пошто стрельцы так?.. Факелом помахали, и — впустую... Сколько наших подле ворот полегло!

— Постой, Лука, не береди душу. Сам ничего не могу надумать.

— Уж не привиделся ли знак тот?

— Полно. Не слепые. Яснее ясного было. Поди, начали стрельцы бунт, ан сорвалось — придавил воевода.

Часа два пробыли булавинцы на Деловом дворе. Из крепости никто на них не напал, да и пушки перестали лупить сильно, а лишь как бы отбрехивались лениво, будто собаки после свары.

* * *

И вновь был показан с городской стены знак: трижды помахали зажженным факелом вверх-вниз по уговору.

Хохлач ткнул Некрасова локтем:

— Что скажешь, Игнат?

— А то: шли мы сюда Азов брать да не в бревнах сидеть...

— Крысам подобно,— вставил Хохлач.

— Стало быть, передай всем по цепи: зараз сызнова пойдем под стены.

— Не попусту ли, атаман, кровь проливать? — приподнялся один из казаков.

— Не попусту, брат,— за волю нашу донскую. Кровью она добыта, кровью за нее стоять будем...

Опять выскочили булавинцы к восточным воротам. Как в прошлый раз, взъярились пушки, и спасу не было от их боя, и сыпались наземь казаки, словно желуди с дуба по осенней поре. А самым страшным было — не могли они стать лицом к лицу с врагом. Не с кем было рубиться, вокруг лишь ядра свистели да картечь.

Но вот створы тяжелых, кованных железом городских ворот начали открываться. Казаки устремили к ним лошадей. Но и оттуда, когда ворота растворились, полыхнуло на всадников огнем, будто из какого-то громадного сатанинского жерла: в воротах стояли плотно придвинутые друг к другу пушки.

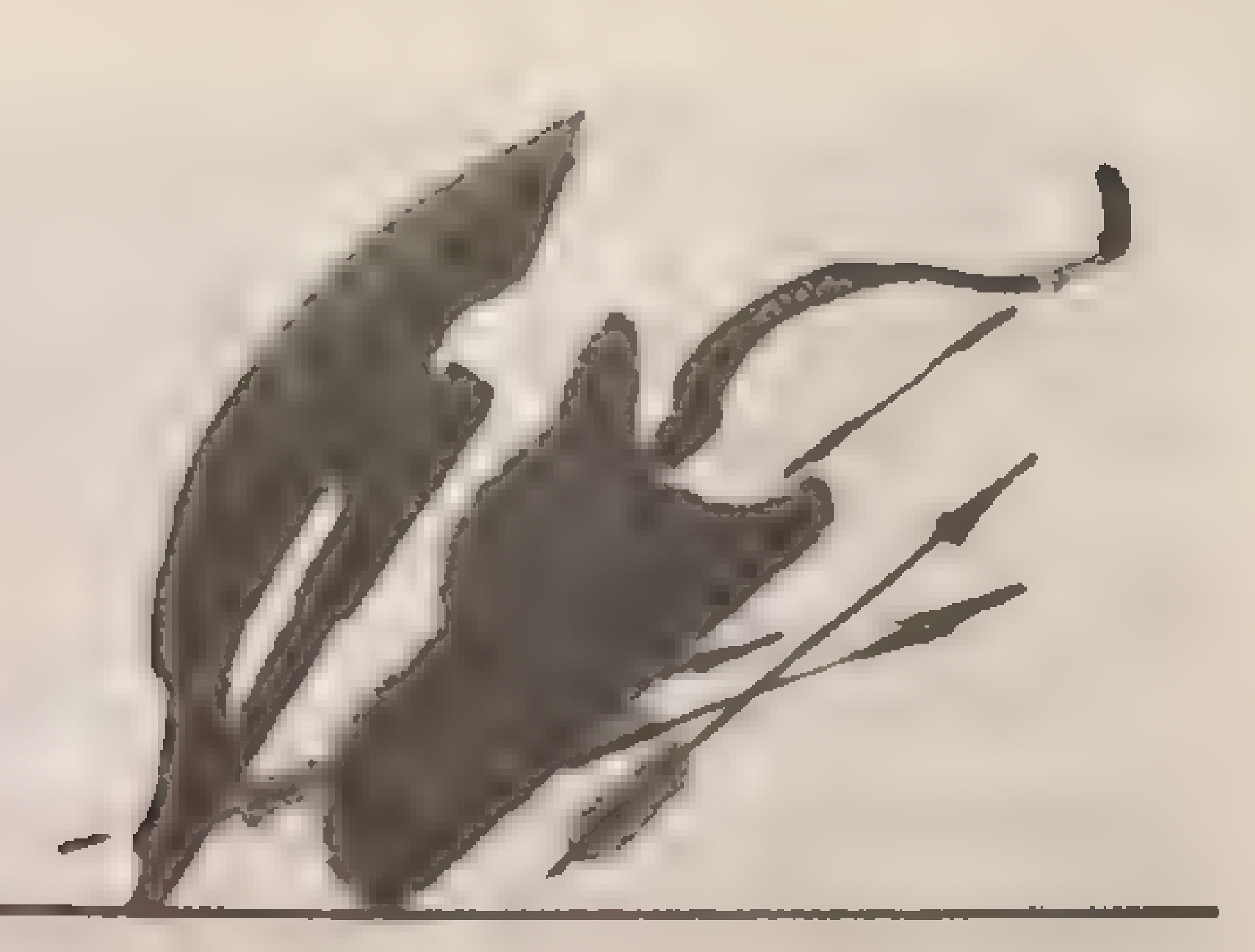
И этот кинжальный огонь, встретивший казаков там, где они ждали спасения, довершил все. Булавинцы повернули назад.

А вслед за ними вылетели из ворот рейтары полковника Васильева. И не могли казаки достойно отбиваться — не было у них уже ни духа, ни сил.

Вполовину уменьшилось войско Хохлача и Некрасова в тот черный день.

Люди Зерщикова тут же снарядили гонцов в Черкасск, дабы поскорее доставить домовитым радостную весть.

ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ



1

В окно Булавин видел, как на соседний баз привезли на телеге с широким настилом стог сена. Эка невидаль! Но почему-то не отошел от окна. Потом он смотрел, как свежее, зеленоватое сено подхватывали вилами и уносили в просторный сарай. Тоже ничего диковинного. А ноги словно приросли к полу, сдвинуться с места не мог.

«Чего это я? — подумал Булавин, улавливая смутное желание пойти к соседям, чтобы, как и они, носить на вилах душистые копешки.— Зачем?»

И тянуло так настойчиво, так неотвязно.

«Тебе-то что там, малохольный?»— обругал он себя и вдруг как обожгло: сено всегда убирал он с Анной...

Сколько лет было заведено: он косил, она ворошила, потом вместе сгребали сухое, пахучее сено, метали стога и, наконец, свозили во двор на сеновал. Нелегкий труд, а как было ладно, светло.

Анна, Анна, что с тобой сейчас, жива ли? Отчего-то вспомнился ее смех — внезапный, но с непременным коротким восклицанием: «Ой!» Когда она смеялась, брови у нее взлетали, словно в удивлении, а по лбу, над переносьем, образовывались две короткие морщинки — они вовсе не портили ее лица.

Нет, представлять Анну веселой слишком мучительно. Да и редко она бывала такой: с чего бы? Радости у казачки мало. Все одна да одна. Муж пропадает в походах, где-то воюет. Ненадолго вернется, одарит родню гостинцами и снова исчезает. А дома — дети, старики, хозяйство, которое тащит, как кляча, выбиваясь из сил.

Анна чаще бывала неулыбчивой, усталой. В короткие минуты отдыха садилась, уткнув локти в колени, а подбородок — в ладони. Может, носила в себе какую обиду? Кондрат спрашивал ее: «На что серчаешь?» Она приподнималась, теребила ему волосы: «Полно тебе! Пошли вечерять». И быстро накрывала на стол. А ели часто молча.

Может, жили они без любви? Кондрат старался вспомнить, какой Анна была раньше, когда он только взял ее в свой дом. Пожалуй, такой же. А до того и не знал ее почти. Видел раза два, потом просватал. Как и все. Не зря говорят: стерпится — слюбится.

У него мать так же замуж выходила. Сама рассказывала. И доля ей досталась — не мед. Уж на что Кондрат крутой мужик, а отец его, Афанасий, и того пуще. Слова ласкового от него не слыхала. Не с того ли где-то в глубине души тянулась она к необычному и красивому, как почти все женщины? Оно, должно быть, представлялось ей похожим на ту далекую историю, которая приключилась с дедом Прокопом, когда он был молод и жил в холопах у одного из князей в Москве. Прокопа давно уже не было на свете, но в семье Булавиных его хорошо помнили. С Прокопа и появился их казацкий род на Дону. Это он, убежав от князя, повстречал в степи казаков и начал гулять по Дикому полю...

Кондрат отошел от окна. Какая-то тревога вдруг нахлынула на него, придавила. Ему нужно было успокоиться. Но как? Он достал из мешка бредень, к которому давно не прикасался, развернул его, начал плести.

Давняя, не раз слышанная им история, ясно всплыла в памяти.

Нет, не из-за голода или крайней нужды ударился Прокоп в бега. Причина была совсем-совсем иной.

2

На подворье у князя Андрея Андреевича Телятевского Прокоп жил не просто в холопах, но состоял в военном отряде. В ту пору, если начиналась война, бояре шли в цареву армию со своими дворовыми ратниками. Понюхал пороха и князь Телятев-

ский — хаживал на татар, на поляков да на шведов. Люди у него были все как на подбор: ловкие, сильные, ратному делу хорошо обучены. В том уж постарался Никита Лютый — пожилой, бывалый воин, которому в сабельной схватке равных не было, а из лука и самопала он так стрелял — все лишь рты разевали. На коне сидел как влитой. Тело, будто кованное из железа, покрывали бесчисленные шрамы.

Среди молодых ратников он особо выделял Ивана и Прокопа. Они тоже лихо рубились, кололи копьем и стреляли. Ему по душе были их смелость и открытый нрав. Любовался он ими, когда бедовые ребята сшибались на Москве-реке в кулачном бою стенка на стенку в дни веселой разгульной масленицы. «Э-эх... э-эх...» — покрикивали они молодецки, с придыханием, сокрушая противника. Удалые, раскрасневшиеся, с дерзкими глазами — никто против них не мог устоять.

Те кулачные бои на речном льду под звоны озорных колокольцев бывали редко — раз в году, но жесткий сабельный звон на бранных полях России слышался чаще.

В одном из походов отряду Телятевского досталось крепко. Андрей Андреевич был ранен, и, поди, пришел бы ему конец, кабы не подоспели к своему господину ратники Прокоп да Иван. Они и сами пострадали в рубке, но князя отбили.

Леченьем раненых на подворье Телятевского занялась старуха Авдотья. Она не отходила от них с зельями, отварами и мазями.

— Ну, старая, — сказал ей однажды князь, — вроде легшает.

— И-и, соколик, — улыбнулась Авдотья, показывая два кривых зуба, — ежели б не была я ведуньей, не оклематься тебе, Андрей Андреевич.

— Ладно врать. Так ли уж был я плох? — приподнялся на локтях князь.

— Ляг, благодетель наш. Думала, не видать тебе бела света, — набивала старуха цену своим стараниям.

Когда же князь почувствовал еще лучше, пожелал увидеть кое-кого из воинов. Первым был зван Лютый. С Никитой поговорили они о последней сече, повспоминали, как кто рубился. Лютый похвалил Прокопа с Иваном: мол, хоть и ранены были, а ворвались в самое пекло, не дрогнули. Прокопу пришлось аж в левую руку саблю взять: правое плечо стрела пробила.

— Как он сейчас? — спросил Андрей Андреевич.

— Ходит,— коротко ответил Никита.

Через некоторое время князь велел позвать Прокопа к себе. Слуга не стал сам разыскивать молодого ратника, а передал приказ через ключника Илью.

— Пошто Пронька надобен? — насторожился ключник. Лицо его подозрительно вытянулось.

— Не ведаю. Велено звать. Иди да поживей.

Прокоп нерешительно вошел в господские покои. Андрей Андреевич был в постели, но не лежал, а сидел, обложенный подушками.

— Ты, говорят, левой рукой бился, меня спасаючи?.. Сказывай.

— Про что, господин?

— А про все. Скучно мне.

Молодой ратник оробел. Как сказать?.. Что первым бросился к князю на выручку, когда тот один остался? Глядишь, осердится Андрей Андреевич — зачем хвалу, мол, себе поешь?

А потому говорил Прокоп мало. О том, как неловко было разить левой рукой, умолчал. Сказал лишь, сеча была жаркая, аж взмок весь.

— Понятно, жаркая,— усмехнулся князь.— Кабы не так, невредимы были бы. Рана твоя поджила?

— Заживает помаленьку. Авдотья снадобьем мажет.

— Счастливо отделался. И меня крест нательный спас. По нему удар пришелся...— Князь расстегнул ворот, извлек золотой крест на кожаном шнурке.— Глянь, погнулся малость. Отдам выправить.— Он положил крест на скамью рядом с постелью, тот так и вспыхнул на солнце.

Неслышно появилась Авдотья, принесла отвар.

— Опять с чертовым пойлом? — поморщился князь.

— Испей, соколик.

— Не могу, опостылело.

— Пропотеешь — нездоровье выйдет, сила войдет,— елейно заговорила старуха.— Испей.

— Ладно, давай свою отраву.

Андрей Андреевич выпил. От горечи у него даже рот скривило.

— Больше не приноси,— выдохнул князь.

Так же бесшумно Авдотья удалилась.

— И ты ступай. Устал я.— Андрей Андреевич кивнул Прокопу, лег, накрылся одеялом.— Нет, погоди. Поправь подушку. И посиди здесь, пока не усну. Мух отгонять будешь. Замучили...

У Андрея Андреевича Прокоп пробыл недолго. Когда раздалось мерное посапывание, холоп ушел.

Во дворе встретился ему ключник Илья. Ключника Прокоп не любил: Илья всегда задирался и злословил, а перед князем и ближними к нему лебезил так, что смотреть было тошно. Раньше Илью определили было в военные холопы, но в бою трусоват оказался задира, норовил держаться в сторонке. Сделавшись ключником, Илья зазнался, на прежних сотоварищей смотрел свысока. А уж на что как завистлив был!

Прокоп старался с ним не связываться, да все же вспыхнула между ними вражда из-за Павлуши — жил такой малец, лет десяти, на княжеском подворье...

Павлушка рос сиротой. Единственный его старший брат, Пахом, был в стрельцах. Виделись они редко, на рождество или на пасху стрелец приходил к Павлушке, приносил гостинца. Поглаживая меньшого по голове, Пахом приговаривал: «Сирый ты у меня, сирый. Живешь без ласки, без доброго слова». Малец прижимался к братнину красному кафтану, и сладко становилось до слез. «Поди, бьют тебя?» — спрашивал Пахом. Павлушка отводил глаза. Пожаловаться бы на ключника Илью — тот чаще всех бьет, да норовит побольнее вдарить. У брата кулаки-то вон какие — с кувалду! Стукнул бы раз Ильюшку — от ключника мокрое место, мечталось мальчику. Но тут же Павлушка отгонял мечты: брат уйдет, а все на подворье останутся. «Нет, не бьют,— отвечал он.— Я сам кого хошь...» — и умолкал.

Но с недавних пор появился у Павлушки настоящий заступник — Прокоп. Он и раньше заговаривал с мальчиком, раза два брал с собой на рыбалку. А тут вышла такая история. Когда Павлуша колол дрова, мимо проходил ключник. От полена отлетела щепка да угодила Илье прямо в ногу. Ключник схватил Павлушу за шиворот и принялся хлестать по щекам. Подбежал Прокоп.

— Ты что, над сиротой издеваться? — и влепил обидчику крепкого тумака.

Илья упал, но, подобрав полено, вскочил на ноги и двинулся к Прокопу.

— Зашибу-у-у...— выл ключник.

Прокоп поднял топор, тихо произнес:

— Положь полено.

И ключник, весь как-то вдруг обмякнув, разжал руку. Полено упало.

— А сироту не трожь,— так же тихо добавил Прокоп,— худо будет, наперед говорю.

После того как молодой ратник вышел от князя, встреча Ильи и Прокопа была не случайной. Ключник, пытаясь во всем и всегда угождать Андрею Андреевичу, всякий раз досадовал, едва лишь замечал, что князь выказывал к кому-нибудь расположение либо интерес.

И вот теперь он с беспокойством размышлял, для чего же хозяин звал Проньку? Вглядывался, стараясь по лицу понять: досталось ли холопу за что-нибудь или, не дай бог, проявил князь к нему свою милость? Кабы не сделал он Проньку любимцем. Что же было у князя? Ведь не спросишь впрямую...

Озабоченно Илья проговорил:

— Как там Андрей Андреич, здоров ли?

— Вроде здоров.

— И голосом не слаб?.. Не кричал?..

— Пошто кричать?.. Про войну говорили.

— Ишь, сердешный,— со вздохом сказал Илья.— Князю-то нашему выпало — не приведи господь.

— Крест, говорит, спас,— простодушно отозвался Прокоп.

— Какой крест?

— Нательный, на груди висел. Крест золотой, на солнце горит — аж глазам больно.

— Где же ты видел-то?

— Князь сам снял. Показывал, как погнуло крест под ударом. Править надобно.

— Да, бывает,— молвил Илья и, хитро усмехнувшись, добавил: — Тебе бы такой, а?

— Что говорить...

Илья отошел. Теперь он знал: нет, не в любимцах пока Пронька, но все же князь приглашает его на разговоры. Что-то дале будет?

...А через два часа поднялся на подворье переполох. Нательный крест пропал, не оказалось его ни на скамье, ни на полу. Князь велел привести всех, кто заходил в покои. Слуги стояли ни живы ни мертвы. Нет, никто не видел. Никто не брал.

— Прибью,— посулил Андрей Андреевич.— Подобру признавайтесь.

Дворня глаза вниз опустила. Да кто же мог посметь? Кто покусился?

— Крест не сыщется, всех в пыточную сдам! — ярился князь.— На дыбе заговорите, мерзавцы...

Телятевскому вдруг стало нехорошо. Он упал на подушки.

— Все убирайтесь,— прохрипел Андрей Андреевич.

Когда полегчало, князю доложили, что просится к нему поговорить с глазу на глаз ключник.

— Пусть войдет.

Отвесив поклон, Илья сразу же сказал, что знает, у кого крест,— у Проньки.

— Не бреши,— остановил его князь.— Пронька не возьмет, не таков.

— Чтоб мне провалиться, чтоб мне...

— Ты видел?

Илья замялся, прямо не ответил, но сказал так:

— Поверь мне, князь. Я твой раб. В огонь за тебя и в воду. С кривдой не приду. Пронька сам мне про твой крест говорил. Золотой, дескать, весь, да малость погнутый. А еще говорил: мне бы, дескать, такой...

— На что ему? — Андрей Андреевич откинул голову на подушку.

— Как на что? Деньги надобны. Жениться хочет. Зазноба у него есть. Марфушкой зовут,— затараторил Илья.— Девка-краса.

— Краса, говоришь?.. Посмотрим.

Князь лежал, закрыв глаза. Он уже не слушал ключника. С крестом все ясно. Но кто украл — Пронька! Тот, кого он выделил среди других молодых холопов и считал самым старательным и смелым... «А-а, холоп есть холоп,— заключил наконец Андрей Андреевич, чтобы не ломать больше голову над неприятным делом.— Все они как волки: сколько ни корми — в лес смотрят...»

Ключник чуть кашлянул — напомнил о своем присутствии.

— С Пронькой мне пока недосуг разбираться,— произнес князь,— слабость нашла... Ты позови людей... Шевелись... Распорядиться хочу...

Он приказал держать Прокопа два-три дня взаперти. А там как станет, мол, ему, князю, полегче, пусть приведут Проньку для расспросов.

Сарай, в котором заперли Прокопа, был небольшой. В нем хранилась глиняная посуда — плошки, миски, кувшины — да печная утварь — кочерги, ухваты.

Горько было Прокопу донельзя. Неужто князь мог подумать, что он возьмет золотой крест? Да уж лучше руки лишиться, чем украсть. Верно, глядел он на этот крест — и только. Должно быть, кто другой заходил после. Но кто, кто дерзнул?

Павлушке дважды в день было велено приносить еду для узника. Как только малец появился, Прокоп спросил: что, мол, слышно на подворье. Мальчик ответил: говорят-де разное, но мало кто верит, что крест украл ты. Марфинька плачет: никогда, мол, Прокоп не позарится на чужое. А Никита Лютый даже побил двоих за недобрые слухи. Лишь ключник Илья болтает, будто Проньке скоро конец — вытянут, мол, из него в пыточной все жилы, там, дескать, и признается.

«Стало быть, ни за что на муки идти?.. Кто-то украл, а я в ответе...— раздумывал Прокоп.— Нет уж!.. Бежать!.. Из Москвы подальше. А Марфинька?.. Бежать с нею вместе...»

Но Прокопа никуда с подворья не повели. Пропажа в тот же день отыскалась.

А с крестом случилось вот что. Когда ратник покинул Андрея Андреевича, тот вскоре пробудился. Жарко стало князю. Рубаха — хоть выжимай. Уж правду сказала Авдотья — пропотеешь. Не желая никого видеть, князь сам снял мокрую рубаху, бросил на скамью. Да неловко бросил: сползла рубаха и крест на кожаном шнурке смахнула.

Потом зашла служанка — взглянуть, не нужно ли чего. Увидела скомканную рубаху, забрала, опустила в чан. А взамен принесла новую, сухую, положила рядом с господином.

Нашли золотой крест, когда вынимали белье из чана. Тут же доставили находку Андрею Андреевичу.

— Пронька вернул? — спросил Телятевский.

— В рубахе твоей оказался — в чане.

— Слава богу! А Проньку надобно выпустить.

Как же обрадовался Прокоп, что не прилип к нему такой позор, не пал срам на его голову!

Но нет, не отступила беда, а грянула совсем с другой стороны.

Пожелал князь увидеть Марфиньку. Повела ее к Андрею Андреевичу все та же старуха Авдотья. По дороге внушала:

— На князя-то ласково гляди. Чё лицом окаменела?.. Ступай, ступай, не боись. Сжалась, как перед кнутом.

В господских покоях Марфиньку и вовсе страх сковал. Остановилась, переступив порог, ни жива ни мертва. Глаза в пол уставила.

— Подойди ближе,— повелел князь, а сам так и впился в нее взглядом.

Девушка приблизилась.

— Подыми голову... Как зовут?

— Марфушкой,— поспешила ответить за нее старуха.

Затем он потребовал, чтобы Авдотья научила ее, чем смазывать раны, да поведала, какого зелья и по скольку давать пить.

Здоровье князя быстро шло на поправку.

— Легкая у тебя рука,— говорил он.— И персты нежные.

Как-то он взял ее за руку, не отпускал.

— Андрей Андреич...— взмолилась Марфинька, вся вспыхнув,— грешно ить.

— Дай расцелую.

— У меня жених есть! — Она взглянула на господина строго, попыталась отнять руку.

— Жених?.. Кто, не Пронька ли? Зелен еще, неразумен. Я тебе другого сыщу.

— Не надобно,— попросила Марфинька.— Проня мне люб.

— Ладно. Там видно будет.— Он отстранил ее руку.— Ступай покамест.

Обо всем Марфинька рассказала Прокопу. Тот помрачнел. Поговорить бы с Андреем Андреичем по-хорошему, попросить бы за Марфиньку и себя. Но князь упрям и грозен. Разве подступишься? А может, Никита за них слово замолвит?

Лютый, выслушав Прокопа, в сердцах чертыхнулся.

— Дела как сажа бела,— сказал он.— Сам знаешь, князь завсегда на своем стоит. Отступаться не любит...

Прокоп бухнулся в ноги.

— Подымись. Передо мной падать не след. Я и так буду князя просить, да толку, поди, не выйдет.

Никита начал разговор с Телятевским издалека. Опять вспоминал последнюю сечу, кто как рубился, похвалил Прокопа.

— Да,— согласился князь,— Пронька в пору на выручку подоспел. Но тут же добавил: — На то и холоп, чтоб господина сберечь.

— Предан он тебе всем сердцем.

— Что с того? — насторожился князь.

Никита подумал: самый раз сказать о главном.

— Дозволь, князь Андрей Андреич, жениться ему.

Телятевский промолчал, будто не услышал.

— И я то ж за него прошу,— с поклоном закончил Никита.— Не откажи, Андрей Андреич.— Он ить...

— Ты, Никитка, не лезь,— посуровев, оборвал холопа Телятевский.— Аль беды хочешь? Проситель сыскался.

— Не за себя, князь, а ради отрока. Слуга он верный, воин ладный...

— Пошел прочь,— не повышая голоса, но твердо проговорил Телятевский.— А боле с тем ко мне не подступайся. Подобру говорю. Не то на свою голову лихо накличешь.

Прокоп задумал бежать с Марфинькой из Москвы долой. Куда, к кому, он не знал. Одно было ясно: уйти надобно подальше, чтобы не сыскали.

О своей затее он никому, кроме Лютого, не сказал. Марфинька была согласна.

— С тобой, Проня,— молвила она,— хоть на край света.

Никита говорил, что уходить лучше всего на Дон, к казакам. Но с девкой будет трудно. Конно с ней не подашься, а пеше — быстро устанет. Путь опасный.

— Пропадешь с Марфой в дороге,— заключил он.— Мой тебе совет: погоди малость.

Но Прокоп был тверд.

— Нет,— возразил он.— Ждать неможно. Князь-то, глядишь, Марфиньку силой заберет.

Одна лишь помеха была у Прокопа: рана на плече не совсем зажила. Авдотья покрывала ее каким-то снадобьем. Сказала, еще дней пять нужно мазать, тогда затянется.

Старуха приносила мазь в глиняной плошке. Сама снимала холщовый лоскут с Прокопова плеча, накладывала мазь.

«Пять дней,— думал молодой ратник.— Нет, слишком долгий срок». Каждый день причинял им с Марфинькой мучения, лишь стоило ей пойти лечить Телятевского.

— Дай мне твоего снадобья,— попросил Прокоп у Авдотьи.

— На что тебе?

— Рану мазать.

— Дак я к тебе кажинный день со снадобьем прихожу. Пошто просишь? — допытывалась старуха.

— Про запас надобно.

— Никак, хоронить меня хошь?

— Что ты, бабушка!.. Не завсегда я подле тебя буду.

— Да кто ж тебе мою мазь наложит? — опять показала Авдотья два зуба.— То дело хитрое.

— Хотя бы Марфинька,— вырвалось у Прокопа.

— Марфинька?.. Неужто князь Андрей Андреич отпустит ее для тебя? Ты уж меня, старую, потерпи.— Старуха, обидчиво поджав губы, умолкла. Потом как бы невзначай заметила: — А про запас снадобье негоже. Его свежим пользуют.

Досадно было Авдотье: она травы собирала, сушила, толкла в ступах, отвары и настои делала, мази замешивала. А ее устраняют. Марфиньку предпочли.

В тот же день, осматривая раны Телятевского, она не смогла удержаться, чтоб не сказать: вот, мол, и другие тоже на Марфушкину помощь уповают. Да разве девка без нее, без Авдотьи, что сумеет? Пригожа собой — вот и вся Марфушкина заслуга. Велика ли?.. Да мало ли красивых девок на свете?..

— Погоди,— остановил ее князь,— это кто ж другой, говоришь?

— Пронька вслед за тобой седни сказал: хочу, дескать, чтоб Марфушка мне рану лечила. Снадобье про запас просит...

Андрей Андреевич немедля приказал Прокопа схватить и сызнова бросить в сарай. Говорить с ним было никому не велено. Даже Павлушку предупредили, что он будет крепко бит кнутом, если вступит с узником в разговоры.

...На сей раз Прокоп не знал, за что его посадили. Подумал: уж не за ключника ли, которого он ударил по роже. Но потом решил, что за Илью навряд наказали бы так. «Уж не проведал ли князь, что я с Марфинькой бежать собрался. Да кто ж знал о том, кроме Никиты Лютого да Марфиньки. Никита не выдаст, человек надежный. Может, она кому проговорилась? Узнать бы. Да как?»

Он тщательно оглядел сарай. Стены бревенчатые, оконце узкое — не пролезешь, на тяжелой двери — замок. Посуда стояла на полках, но часть ее — старая — была свалена в углу. Пол тоже из тесаных бревен. Возле кучи посуды стояла короткая скамейка. «Сколько меня здесь продержат? — думал Прокоп.— Наступит ночь — прилечь не на чем...»

Когда Павлуша принес еду, Прокоп хотел было спросить: видел ли он Марфиньку да стоит ли за дверью сторож... Но едва раскрыл рот, мальчик прижал к губам палец, подмигнул и нарочито громко произнес:

— Не велено говорить. Поешь вот.

Прокоп зашептал в самое ухо Павлуше, и мальчик так же шепотом ответил: Марфиньку он видел только что на подворье, стражник к сараю не приставлен, но с ним, с Павлушей, пришел княжеский слуга — стоит возле двери, а за что Прокопа посадили, никто не знает...

И опять громко сказал:

— Поел?.. Ну доедай. Я пойду сена спрошу — спать-то тебе не на чем.

После его ухода Прокоп вновь принялся осматривать сарай. Кучу посуды он переместил в другой угол. Бревна в освободившемся углу оказались гнилыми. Прокоп разбил одну плошку, стал ковырять древесину острым осколком. Она поддалась легко.

К вечеру Павлушка появился с сеном. Принимая у него охапку, Прокоп шепнул:

— Скажи Марфиньке, все будет, как уговорились.

Мальчик кивнул головой.

— Смотри не забудь.

Павлушка опять молча закивал.

Всю ночь Прокоп крошил черепком гнилой угол. Труху и мелкую щепку прятал в горшки и кувшины. К рассвету в дыру между бревнами он уже мог просовывать сразу две руки. Тем же

черепком он рыл землю, выбирал ее пригоршнями, тоже ссыпал в пустую посуду. Прикинул: если не помешают, через две ночи лаз будет готов.

В оконце стала проступать полоска слабого света. Прокоп переставил все на прежнее место, лег.

Разбудил его мальчик, принесший еду.

— Марфиньку видел? — сразу же спросил Прокоп.

Павлуша кивнул.

— Обрадовалась. Пирога мне дала,— зашептал мальчик.— И тебе тоже прислала. Он вынул из-за пазухи кусок.— Бери.

Пирог был с капустой и яйцами. Марфинька уже угощала его. Запомнила, стало быть, как он тогда сказал: «Вкусен. В жизни такого не ел».

— Передай, чтоб ждала на третью ночь. Я легонько свистну, тогда пусть выходит.

И еще две ночи минуло. Прокоп работал не покладая рук. Между бревнами успел сделать лаз, прокопал ход к наружному углу сарая.

Но побег не состоялся. А виной тому был сущий пустяк. В последний день перед ночью, которой все должно было свершиться, мальчик и страж, как обычно, пришли к сараю. Павлушка понес Прокопу еду, страж остался возле двери. Постоял, отмахиваясь от докучливых мух, зевнул и пошел за угол сарая.

— Марфушка велела передать,— говорил мальчик,— ждет не дождется.

— Пусть собирается. Все что надобно пусть сложит в котомку.

— А что надобно?

— Она сама о том...

В это время за стеной сарая послышался испуганный вскрик и глухой удар: это провалился страж, ступив на землю над подкопом.

Узник понял все сразу. Подкоп обнаружен. Оставаться на месте нельзя. Скорее же прочь отсюда.

Страж чертыхался и звал на помощь.

К сараю уже спешили.

— Скажи Марфиньке, все по уговору.— И Прокоп выскочил за дверь.

— Держи его! — орал выбравшийся из ямы страж.— Уйдет!

Оттолкнув кого-то, Прокоп метнулся к воротам, но Илья-ключник успел подставить ногу. Беглец растянулся на земле, на него тотчас навалились, прижали.

Челядь не знала, чем виноват холоп. Зато было известно, что он спас князя в бою. Это еще больше вызывало разговоров, подогревало любопытство. Андрей Андреевич не повелел, чтоб Прокопа доставили к нему, но насчет наказания распорядился.

Молодому ратнику всыпали плетей и опять заперли, теперь уже в каменном подвале. Заодно был бит и Павлушка. Спешившие к сараю челядинцы расслышали последние слова узника: «Все по уговору». А коли так, значит, нарушил Павлушка княжеский наказ — вступал в разговор. Стало быть, в плети.

Спустя неделю Прокопа выпустили. Первое, что он узнал: князь три дня назад уехал в вотчину, забрав с собой часть челяди. Взял он также и Марфиньку.

Прокоп думал пуститься следом, но тут вернулся в Москву один из княжеских слуг со страшным известием: Марфинька утопилась.

3

Через окно Булавин услышал, как на соседнем базу кто-то закричал:

— Санька, чё мешкаешь?.. За другим стогом поехали...

— Зараз, зараз...

Кондрат отложил бредень.

— Санька, слышь?..

Стройный ряд воспоминаний дрогнул, рассыпался.

«Как же все на свете перепутано,— думал Булавин.— Тут тебе и сено, от которого веет жизнью мирной и благостной. Тут тебе и война, что сжигает все, содеянное руками человеческими, и несет горе и смерть. Да и что кругом творится — русские пошли на русских. Люди одной крови, одной веры... А ты, Кондратей,—спросил он себя,— не тем же занят? Пошто ведешь

одних на других? Неужто тесно всем жить по-доброму? Надобна ли тебе погибель своих братьев?..»

Так пытал он себя и с муками старался найти ответ.

«Нет, Кондратей, ты вглыбь гляди. Откуда зло идет, кто тесноту чинит и казаков травит? Ладно, понаехали в Россию немцы, им здесь все чужое, не так да не эдак. Но бояре, но прибыльщики, но царевы воеводы и губернаторы разве не свои люди по крови? Али в их жилах течет бесовская кровь? Но пошто тогда кнут и плети, пошто носы и уши резаные?.. Пошто не с тобой Анна и Микита?.. Да разве только сейчас от бояр зло пошло? А раньше нешто не служил верой и правдой своему хозяину твой прадед, Прокоп? Но боярин, вишь, плетями его пожаловал, а Марфушку со свету сжил. Эх, Прокоп, Прокоп, верен ты был князю, да и твое терпенье лопнуло...»

Булавин опять взялся за свой бредень. Новые и новые ячейки поползли из-под пальцев. И опять пробудилась в памяти давняя история его предка.

* * *

...Уехал Андрей Андреевич в свою вотчину, а жизнь на его московском подворье текла тихая и гладкая, дела велись справно, люди и без хозяина знали, что от них требовалось.

Иной раз в Москву прибывали нарочные с приказами князя. Так он повелел Никите Лютому, дабы старый воин вновь взялся обучать ратному делу дворовых холопов.

— Да еще господин хочет, чтоб ученья шли каждый второй день,— добавил нарочный.— А вернется, сулит смотр устроить.

Никита ответил в одно слово:

— Постараемся.

Ай как усердно рубил Прокоп на полном скаку лозу и стрелял из лука! И чудилось ему, будто не лоза отлетала под его ударами, но голова князя, и не в голый столб впивались стрелы, но в грудь Андрея Андреевича. «За нас с Марфинькой,— шептал Прокоп,— за муки Павлушкины».

И звенела, звенела тетива. Летели стрелы.

Стрелять так метко, как Прокоп, мог только Иван. Глядя на то, как умели они одной стрелой щепить другую, Никита Лютый говорил:

— Ну, ребята, потрафили старому. Таких лучников по всей Москве раз-два и обчелся.

Когда приехал Андрей Андреевич и пожелал увидеть выучку своих холопов, они в грязь лицом не ударили. Сперва Никита показал, на что способны конники. Они сшибались, как в настоящем бою, метали на скаку короткие копья, рубили ивовый прут, одолевали рвы и, наконец, пустив лошадей во весь опор, перемахивали через изгородь.

— Добро! — отозвался князь.— Всем по чарке водки.

Потом Никита повелел устроить стрельбище. Но на сей раз воины стреляли не по столбу, как прежде, а в доски, на которых углем была нарисована тень человека. Раньше выстрел считался верным, если лучник попадал в столб. Теперь же нужно было поразить тень.

Многие лучники посылали верную стрелу с одного раза.

Настала очередь Ивана. Он выстрелил, почти не целясь,— лишь вскинул лук и тут же отпустил тетиву. Стрела воткнулась в середину доски.

— Ловок,— взглянул на него Телятевский.

— Дозволь, князь, стрельнуть Проньке по той же доске? — спросил Никита.

Андрей Андреевич позволил.

Прокоп целился, задержав дыхание. Выстрелил. Его стрела расщепила хвост первой. На радостях пошумев, лучники стихли: что-то скажет князь?

— Стреляй еще,— произнес Телятевский.

И третья стрела расщепила вторую.

— Еще,— обернулся к Прокопу князь.

Когда ж и от этого выстрела торчащая стрела распалась на две части, Андрей Андреевич торопливо направился к доске, будто поверить в меткость холопа мог, лишь потрогав стрелу рукой. С князем двинулись все лучники.

Прокоп мигом достал стрелу, приложил к тетиве. Мысли, путаясь, гнали одна другую. Конец князю. Конец ему, Прокопу. Конец белому свету.

Он поднял лук.

Выстрелить не успел. Кто-то ударил по руке — стрела воткнулась в землю. Еще не видя, кто перед ним, Прокоп выхватил нож. Тотчас был выбит и нож. Сверкающей дугой мелькнул



он в воздухе, упал на траву. Кинулся к ножу Прокоп, но железное объятие сдавило его — не дыхнешь.

— Дурень ты, дурень...— лез в уши горячий шепот.— Пошто себя губишь?...

Прокоп с трудом повернул голову.

Никита Лютый!

— После поговорим,— так же торопливо продолжал Никита.— Стой смирно. Князь ворочáется.— Он отпустил ратника. И когда Телятевский приблизился, спросил как ни в чем не бывало: — Что скажешь, князь?

— На диво! — молвил Андрей Андреевич.

Все ушли. Прокоп лег спиной на землю. Долго смотрел в небо. Он чувствовал — утихла в нем ярость, и злобы на князя уж не было. Появись сейчас Андрей Андреевич рядом, не поднялась бы на него рука. Одно ощущал в себе холоп — немую пустоту. Словно вынули из него все — потроха и душу.

Может, и прав Никита: пошто себя губить, пошто идти на плаху. Живи, молод еще. Раны рубцуются, унимается боль. А там впереди, в жизни, неужто не сыщется для него никакого просвета, неужто будет все как черной сажей мазано?..

Смотрел Прокоп в голубое небо. Облака хороводились, точно девицы. А вон то облачко — самое чистое, самое легкое — пусть будет Марфинькой. Куда же ты бежишь? Постой, погоди...

Облака бегут вольно, не зная удержу.

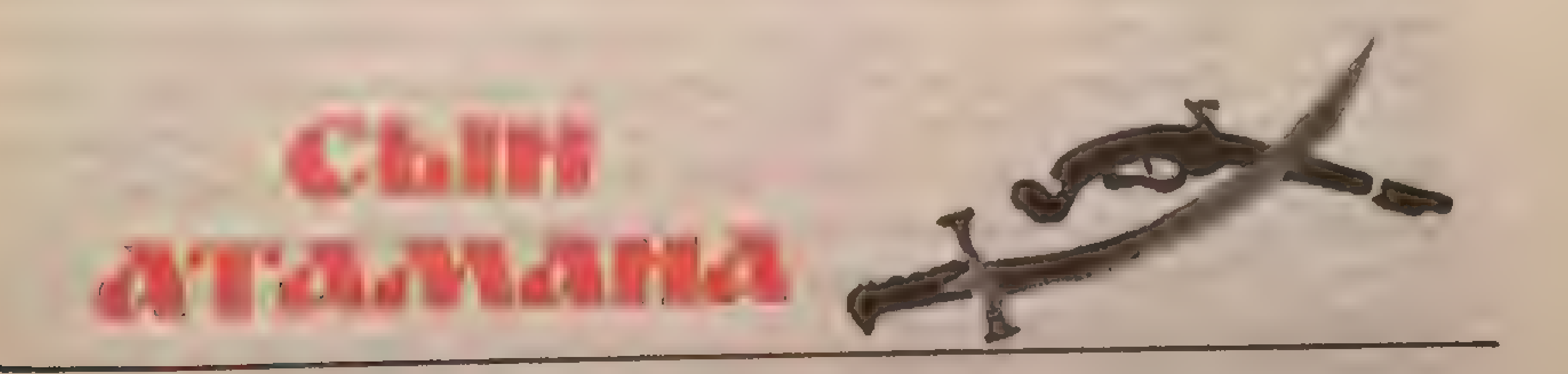
Вышла из Прокопа ярость, да легко не стало. Кабы сам он был вольным. Но нет, не моги жить по своему хотению. На то ты и холоп.

4

...Плетет Кондрат бредень. Ячея за ячеей появляются, а попадет ли в них когда рыба, погуляет ли бредень по реке — кто знает.

«Нет, Прокоп,— думает Булавин,— негоже ты сделал, что пощадил князя. Неужто забыл зло, сотворенное им?.. Да можно ль такое забыть?.. Постой, постой, Кондратей, зачем коришь пращура своего — разве не он с ватагой холопов ушел на донские земли? Против нее и погоню снаряжали, и засады чинили. Не

вышло — пробилась ватага на волю. Вел ее Иван. Старика Лютого уже не было. Пал под Выборгом от шведской пули. А Иван стал большим человеком. Сказывают, то был сам Болотников, который со своими отрядами побивал государевых воевод, а потом осадил Москву, заставив царя Василия Шуйского запереться и дрожать за толстыми стенами. Как теперь знать — с тем ли человеком служил когда-то холоп Пронька у Телятевского? Пути их потом разминулись. Но как бы там ни было, и потомки твои, Прокоп, вишь, не позволили на себя хомут надеть. И со Стенькой Разиным хаживали, и ныне стоят не гнутся. Крепкие ты корни пустил на Дону, Прокоп, живучие. А мой, вишь, корешочек, Микитка мой,— как отрубленный. Свижусь ли?..»



1

Есаула Ананьина с некоторых пор то и дело брала оторопь. Становился растерянным, каким-то прибитым, оглядывался, прислушивался, из рук все валилось, глаза бегали, голова дергалась.

— Что с тобой, Семен? — спрашивали.

— Занедужил. Хворь ломает.

— Чего маешься? Сходи к знахарке.

— Схожу.

И не шел. Знал: не хворь на него напала, но страх. А началось все с того времени, как узнал он, что Микитка, сын Булавина, скрылся.

Днями и вовсе никудышный случай произошел. Ехал Ананьин по станице, что близ Черкасска, и увидел: сидят возле крайнего дома нищие, небось, передохнуть решили. Среди них был старик с клюкой, а рядом поводырь-мальчик. Взглянул Ананьин

на мальчика и обомлел: Микитка! Ни дать ни взять — он самый. В отрепьях, грязный, у ног — холщовая сума. Посмотрели они в глаза друг другу — нехорошо стало есаулу, погнал коня прочь. Но отъехал с версту, обругал себя: чего испугался, олух. Мальца надобно схватить. Неловко при людях? Наплевать. Главное, чтоб он не объявился, с отцом не встретился. Все остальное — полбеды. Ананьин повернул коня, прискакал к тому крайнему дому. Нищие все так же сидели. Мальчик опустил голову — искал что-то в суме. Есаул соскочил на землю, остановился перед мальчиком и, готовясь приподнять его и бросить поперек седла, крикнул:

— Эй, ты!

Малец поднял голову. Вот те раз — иное лицо глянуло на есаула. «Да как же так? Что за напасть, мерещиться стало! Как нечистая сила балует. Нет уж, чур-чур меня». Он не отрывал взгляда от мальчика. Все то же — спутанные белобрысые волосы, впалые щеки, остренький нос, лохмотья, холщовая сума... Но нет, малец не булавинский, незнакомый.

— Тебя, что ли, кликали, Минька?..— подал голос нищий старик.— Чего надобно?

— Не ведаю,— отозвался мальчик.

«Вишь, Минькой зовут»,— успокоил себя Ананьин, а вслух спросил:

— Скажи, дед, на Черкасск по этой дороге?

— Ты, мил человек, сам смотри. Я ить слеп,— проронил старик.

Есаул стегнул нагайкой коня и умчался.

Перед глазами что-то мелькало, ничего различить он не мог. Руки, ноги онемели — не свалиться бы. В ушах стояли последние слова старца: «Я ить слеп». Голова у Ананьина шла кругом. «Я тоже слеп... слеп... слеп... Куда скачу, не вижу,— пытался произнести есаул, да язык не слушался.— Наваждение сатанинское. Чур, чур...» И возникали в его памяти два лица — Микиткино и то, иное. Они то становились похожими друг на друга, соединялись в одно, то опять раздваивались, строили ему гримасы, скалились.

2

Между тем никакого наваждения не было. На самом деле, когда в первый раз проезжал Ананьин мимо нищих, рядом со стариком сидел Микита, а поводырь Минька ушел в то время к колодцу испить воды. Но когда есаул вернулся, Микита упрятался в кустах, что росли по обочине (Ананьина он признал сразу же), а возле старика сел Минька.

Чего только не выпало на долю Микиты после того, как он расстался с Кабаном! Особенно трудно было в первые две недели. Никакой ягоды еще не было, не поспела. Микита ел молодые листья липы, щавель, обрывал лепестки цветущего шиповника; везло, если находил птичьи гнезда с яйцами. На реках пробовал ловить мелкую рыбешку, шныряющую по отмелям, да разве наешься двумя-тремя пескариками величиной с мизинец.

Ночевал Микита в старых стогах. В городки и станицы заходить не решался: просить милостыню не умел да и показываться людям на глаза было боязно. Он страшно отощал, лохмотья висели на нем, как на пугале. Ночами несколько раз пробирался во дворы, рылся в ямах с отбросами. Но однажды на него накинулась собака, покусала. Спасаясь, с трудом перелез через плетень, еле уволок ноги.

Остаток ночи он провел под старой брошенной телегой. Утром попробовал встать — нет сил. Там, возле телеги, и натолкнулись на него нищие. Сперва подумали, мертвый лежит, но, когда склонились над ним, мальчик открыл глаза.

— Ты чей?.. Откуда?..— спросили его.

Микита прошептал:

— Поесть... Помираю...

Они порылись у себя в сумах, нашли какие-то крохи, отдали ему.

С того дня и пристал он к четверым нищим, в числе которых были слепой старик и поводырь Минька. С ними уже не так страшно было Миките ходить по дорогам и появляться в станицах. А главное — шли они в Черкасск, туда, куда нужно было и ему. Медленно шли, вернее сказать, брели, но помаленьку приближались.

Старик был словоохотлив.

— Тебе сколько годков? — спрашивал он Микиту.

— Десять стукнуло.

— Как Миньке,— замечал слепой.— А кто из вас выше?

— Да мы на равных,— отзывался Минька.

— Микита, подь ко мне,— просил старец и осторожно ощупывал лицо мальчика.— Подбородок у тебя крут нос тонкий, лоб высокий. А волосы мягкие... И светлые?

— Как рожь перед жатвой,— сказал нищий с культёй вместо руки.— Да у него и у Миньки, поди, одного цвета волосы-то. Правда, Андрюха?

В ответ Андрюха что-то замычал: он был без языка, во рту лишь обрубок остался.

— Во-о,— продолжил культяпый,— сотоварищ мой говорит то же самое.

— Рожь? — вспоминал старик.— Давно не видел. Золотятся, что ль, волосы?

— Ежели на солнце,— уточнил культяпый.— И еще скажу, похожи мальцы друг на дружку, ровно братья.

— Не скажи,— возразил слепой.— У Миньки лицо круглое, нос плотный, губы шире.

— Ишь! — Культяпый восхищенно мотнул головой.— Будто зрит.

— Он получше нас видит,— вступился Минька.— Даром что слепой.

«Уж не прикидывается ли он? — думал Микита.— Да мне-то что с того! Лишь бы не прогнали: их крохи ем».

Но его никто и не собирался прогонять. Старик же с поводырем были к Микитке так теплы и доброхотны, что вскоре сблизился он с ними всей душой, и стало казаться ему, будто идут они вместе уже давным-давно.

Так шли они по дорогам донской земли, еще недавно вольной, а ныне уже придавленной пятой российского государя. Но покамест Дон цеплялся за старое, дедовское, противился царевым указам и повелениям. Придавлен был, но не растоптан. Два имени держались у всех на устах: Булавин и Долгорукий.

Кто кого? По станицам все упорнее летела молва: Булавину приходится худо.

Затеялся разговор о Булавине и средь нищей братии.



— Нутром чую,— сказал культяпый,— не удержаться Кондратею. Песня его спета. Что он сможет супротив армии? Я ить сам в бомбардирах был, знаю.

— Полно тебе каркать, вещун! — сердито прервал старец.— Сперва в Черкасск сходим, на Булавина взглянем, а там рот разевай.

— Нет,— стоял на своем культяпый,— мы с Андрюхой передумали. Право, не ходоки мы в Черкасск. Дело наше неторопкое, направим стопы куда подалее.

— Куда же? — спросил слепой.

— Куда орел костей не заносил.

— Какой орел? — не понял Микита.

— Двуглавый.

— Нешто есть такой?

— Есть у государя. Меня вон руки лишил, у Андрюхи язык отклюнул. Верно, Андрюха?

Немой промычал, стал что-то показывать руками.

— Говорит: верно.

Старец вздохнул:

— Коли так — с богом! А мы не свернем. Ты-то куда, Микитка?

— Дозволь при тебе быть, дедушка.

— Я тебя не гоню. Как хошь.

Нищие перекрестили друг друга и расстались. Двое повернули в сторону, слепец с двумя мальчишками побрел дальше.

И опять пылила дорога под ногами у Микиты, и солнце жгло, и с голода нестерпимо подводило живот.

— А тебе-то пошто в Черкасск? — жалея Микиту, спрашивал старик.— Останься в какой станице. Авось помереть не дадут.

— Не бросайте...— просил Микита.— Я с вами... Кто ж у меня, кроме вас, родимые...

Нет, не покривил он душой. У него и впрямь никого не было теперь, кроме этих двух попутчиков, старика и мальчика. Да и как не сродниться с ними: одно подаяние делили, одной рогожей накрывались, в одного человека верили — в Булавина.

— Кто ведает,— сказал однажды старец,—идем к Кондратею, ноги стерли, а допустит ли? Большой человек, забот полно, врагов и того пуще. Что ему слепой бродяга? Мо́чи нет...

Кинулся к нему Микита, прижался, зашептал:

— Допустит, дедушка, допустит... Я попрошу.

— Ты?

— Сын я ему. Никому о том не сказывай... Погубят меня...

— Господь с тобой,— гладил старик Микиту по голове.— Что говоришь?.. Белену ел?.. Успокойся...

И тогда во всем открылся Микита старцу, посвятил в тайное тайных, ибо понял: не одолеть ему в одиночку рогаток, что понаставила жизнь.

— Не дам я тебя никому. Вот те крест.— Слепой замолчал, что-то вспоминая.— А скажи, Микита, каков твой отец лицом?.. Встречал я одного человека, он мне Булавиным назвался. Я все гадаю, вправду сказал али нет?.. Ты слухай, Минька.

Микита вдруг испугался, сможет ли передать словами, каков отец. Но потом собрался с духом, поведал: борода с сединой, брови черные, густые, на щеке пуля отметину сделала...

— Все так,— не выдержал Минька,— и рубец на щеке был.

— Чего еще? — подумал Микита вслух.— Голос громкий...

— Помню,— сказал старец.

— Хмурится, а сам не таков, ей-ей.

— Может он рубль дать ни за что ни про что?

Микита хотел сказать, мол, не ведаю, но вспомнил, как любил отец угощать каждого, кто заглядывал к ним в курень, как раздавал гостинцы всем ребятишкам, возвращаясь с базара.

— Может? — повторил свой вопрос старец.

— Вестимо.

— Стало быть, булавинский рубль проели.

— Вдвоем?

— Пошто вдвоем? Целой ватагой кормились. Тот же солдат культяпый со своим Андрюхой был. Что говорить, кабы не рубль...— Старик махнул рукой.— Э-эх, жизнь-маета.

До Черкасска становилось ближе, ближе. А вскоре и произошла та встреча с Ананьиным, после чего ускакал тот в полном смятении, приговаривая то и дело: чур, меня.

ВЫСТРЕЛ В ОКНО

1

Зато в самом Черкасске Ананьина ждала радость. В доме у Зерщикова он узнал, что булавинцы под Азовом разбиты, Некрасов и Хохлач с остатками войска бежали.

На своей сходке домовитые решили: Булавина нужно похитить и выдать царю.

Сборище было горячим.

— Поди, Кондрашкой откупимся. Государь-то, Петр Алексеевич, на Войско Донское нынче большой зуб имеет.

— Убить проще. Взять Кондратея, небось, нелегко будет. Волк матерый.

— Живого возьмем — царю больше потрафим. Любо ему будет посмотреть, как Булавин на кол сядет.

— И неча время терять,— сказал Илья Зерщиков.— Некрасов и Хохлач покуда новое войско набирают. Иван Лоскут на Кубань послан за подмогой — торопить тамошних казаков будет. Самая пора брать Кондрашку. Надобно на это дело сотни две сабель отрядить, максимовский курень со всех сторон взять в кольцо, чтобы мышь проскочить не могла. Ты, Ананьин, прямо зараз пойдешь по людям, заглянешь к каждому домовитому, погуторишь.

— Я?..— струсил есаул.— Тебя лучше послушают.

— Полно, Семен. Не отстраняйся. Дело верное... И слух надобно пустить: мол, Кондрашка — предатель. Через него, дескать, под Азовом наших побили...

— Кондратей Офонасьич, слепец к тебе просится.

— Какой слепец?

— С мальчонкой бродяга. Пропустить просит. Говорит, донес для тебя весть дюже дорогую.

— Пусти,— устало молвил Булавин.

Ну какая весть могла сейчас быть дорогой? Повсюду жмут царевы полки. Если б Хохлач с Некрасовым или Иван Лоскут сумели вновь собрать войско! Да скоро лишь сказка сказывается...

Дверь отворилась, и порог переступил мальчик, а затем уже, держась за него, вошел старик. Кондрат сразу же признал тех нищих, что встретились ему месяца два назад у Красной Дубравы.

— Что, дед, опять хочешь поведать, как Булавин с Петром спорил? — усмехнулся атаман.

— Виноват, батюшка. Мир слухом полнится... Да не с тем я к тебе пришел.

— А как рубль мой неразменный, цел?

— Небось, цел,— вывернулся старик,— да не при нас.

— То-то, дед. И Петров рубль не при мне.— Булавин невесело засмеялся.— С чем пожаловал?.. А у тебя, малец, свистулька с собой?.. Сыграл бы.

— Сыграет после,— ответил старик.— Нынче тебе недосуг свистульку слушать.

— Пошто недосуг? Один я, вишь.

— Не один будешь. Сына мы тебе привели, Микитку.

— Ты что, дед, языком мелешь? — вскочил со скамьи Булавин.— Не трави душу. Спятил?..

— Не кипятись, Кондратей Офонасьич, говорю, что есть. Хошь, у моего Миньки спроси. А в дом сюда не доставили, так неспроста. Боялись, перехватят его, загубят.

— Кто перехватит?.. О чем ты?..

— Твой же человек. Змею ты на груди пригрел, Кондратей. Сын расскажет.

— Да где же Микитка?

— Недалече.

— Идем скорее.

К дому, где старик оставил Микиту, идти-то было всего ничего — через десять дворов. Но едва они вышли на крыльцо, как увидел Булавин двух ворвавшихся на баз всадников. Не соскакивая с лошадей, они закричали:

— Измена, Кондратей!.. Измена! Домовитые к тебе скачут. Повязать хотят.

— Много ль их?

— Боле сотни. Уходи, атаман. Быть здесь неможно.

— Возьмите старика с мальцом.— Булавин кинулся подсаживать нищих.

Когда всадники, прихватив слепого и поводыря, умчались, войсковой велел пятерым казакам, что были при нем как охрана, скакать к голутвенным за помощью.

— А ты, атаман?

— Здесь, отбиваться буду...— Кондрат вынул пистолеты, проверил, заряжены.— Не мешкайте.

Но было уже поздно. Вырвавшихся на улицу охранников домовитые окружили, и Булавин сам видел с крыльца, как пали они под саблями.

Кондрат вбежал в дом, лихорадочно стал искать засов, чтобы запереть дверь. Не успел — вломились четверо заговорщиков. Двоих он сразил выстрелами, пока они приглядывались в полутемных сенях, третьего ударил саблей, четвертый выскочил назад.

Тяжелыми скамьями Булавин припер дверь, перезарядил пистолеты.

— Сдавайся подобру. Нас много! — кричали снаружи.

— Сколько ни есть, за измену все ответите.

— Сдавайся, слышь. Не тронем.

«Дурачье,— усмехнулся Булавин.— Неужто не знаете: позор горше смерти. Но вы поплатитесь, найдут вас мои сотоварищи. Духом я буду с ними всегда. Дух не умирает...»

Домовитые попытались лезть через окна, но Булавин стрелял метко — еще несколько нападающих нашли свою погибель. Они все казались Кондрату на одно лицо — всклокоченные, багровые, разъяренные... «Пошто так похожи? — подумал он вдруг.— Да как же иначе: враги...» Он стоял в безопасности — схоронился за угол печи, откуда удобно было выглядывать, наблюдая за окнами. В доме от выстрелов с улицы щепилось дерево, крошился печной кирпич, падали какие-то мелкие предметы.

— Мы тебя выкурим! — кричали домовитые.

Они доставили к дому несколько небольших пушек.

Загремели выстрелы — посыпались ядра.



«Буду стоять до последнего,— стиснул зубы Булавин.— А может, выручка подоспеет... Микитку бы увидеть... Ведь совсем рядом где-то. Стригунок мой. Положить бы ладонь на белобрысую голову. Ладно, Кондратей, не раскисай. Еще погуляешь с сыном по степи. Казачьи мальцы растут быстро... Ай, Микитка, сам нашел отца! Ай, молодец!.. Погоди, с домовитыми справимся, а там...»

И вдруг стало тихо. Затем послышался конский топот.

Что такое?.. Никак, свои прискакали?

— Кондратей Офонасьич!.. Слышь, Кондратей Офонасьич...— раздался под окнами знакомый голос.— Открой, это я.

Булавин выглянул в окно, увидел сжавшегося Ананьина.

— Друг!.. Вовремя успел... В самый раз...

В ответ есаул выстрелил.

Войсковой рухнул наземь без звука. Пуля вошла в левый висок.

— Прикончил!..— закричал Ананьин.— Ей-богу, прикончил!

Сразу же рядом появился Зерщиков.

— Пошто шумишь, олух!.. Он сам себя порешил.

Перемахнув через подоконник, Илья нагнулся над Булавиным. И вдруг отпрянул: глаза атамана были открыты.

— Свят!.. Свят!..— пробормотал Зерщиков, хватаясь за саблю. Но тут же понял: Булавин мертв — глаза стеклянные, в них ни гнева, ни проклятья, ни боли.— Ну все, Кондрат, поатаманил...

По всему Черкасску Зерщиков поспешил распространить слух: Кондратей Булавин застрелился сам. Струсил, мол, вот и пустил в себя пулю.

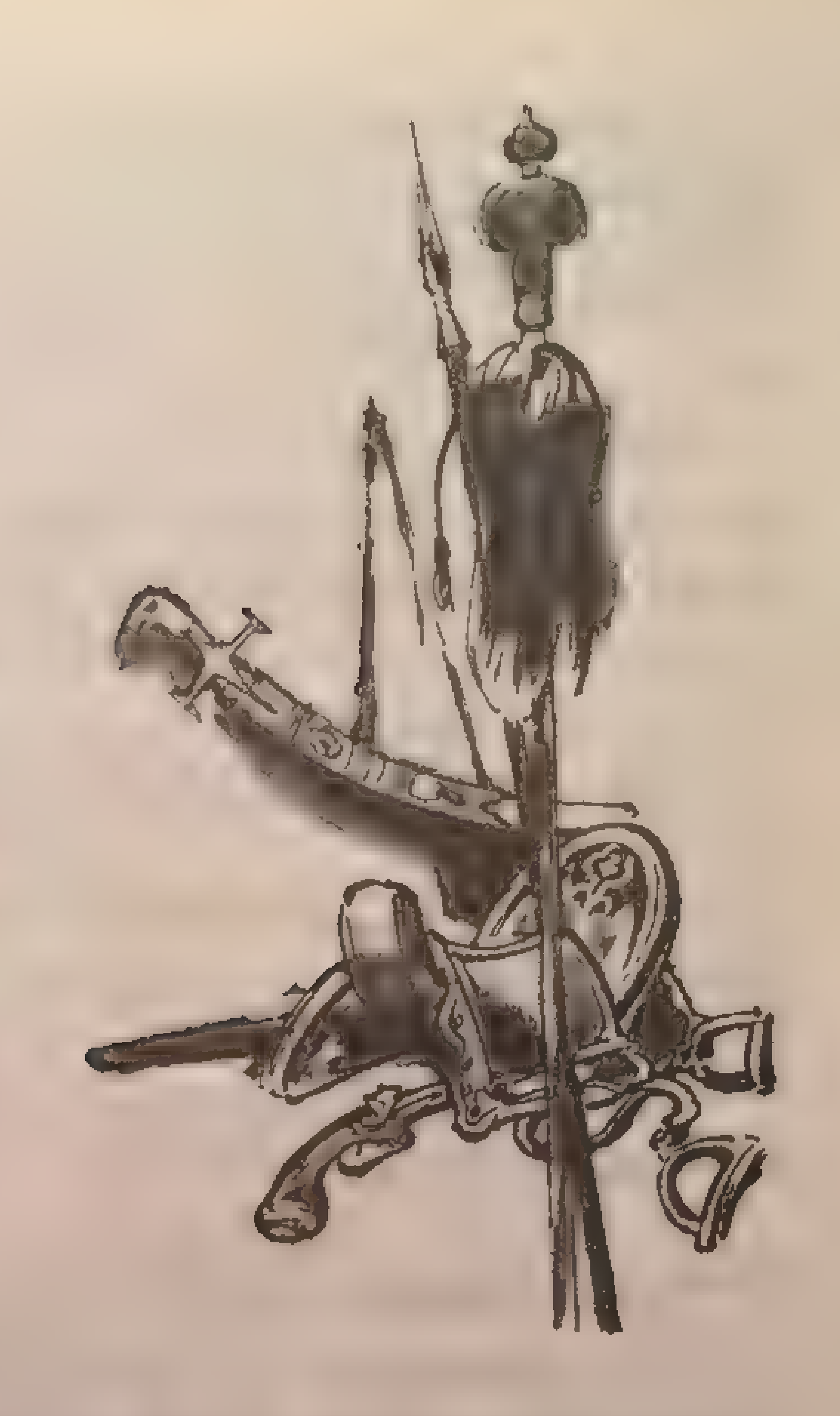
Тело Булавина он отправил в Азов. Пусть губернатор убедится: нет боле вора Кондрашки.

Майору Долгорукому Зерщиков послал письмо, в котором сообщал о смерти Булавина, а заодно уверял, что Войско Донское отныне предано государю. Подписался как войсковой атаман.

На следующий день Зерщиков вспомнил про то разинское знамя, что прикрепил на шесте Иван Лоскут,— повелел сорвать. Но прапорца там не оказалось, снял его кто-то ночью. Лишь голый шест сиротливо смотрел в небо.

ЭПИЛОГ

ПРАПОРЕЦ НА ВЕТРУ



По Дону плыли плоты с виселицами. Ветер раскачивал повешенных. Такие плоты были пущены майором Долгоруким вниз по реке для устрашения.

Молча смотрели им вслед голутвенные. Не кричали, не плакали. Черная скорбь стояла в глазах.

Прощайте, булавинцы...

* * *

И опять российский царь Петр мчался в повозке, отмеряя сотни верст по русским и польским дорогам. На сей раз он ехал из Петербурга к армии, что сосредоточилась в Горках неподалеку от Могилева. Там, в Могилеве, уже месяц стояло войско шведского короля.

Царь спешил. Еще перед отъездом он отправил фельдмаршалу Шереметеву курьера с письмом: «Скоро буду к вам. И прошу, ежели возможно будет, до меня главной баталии не давать...»

Знаменитый бой под Полтавой, в котором русские наголову разобьют Карла, грянет через год, а пока что здесь, в Горках, Петр узнал о гибели Булавина.

— Наконец-то! Сколь долго мы дожидались радостной вести! — воскликнул царь.— Надобно сотворить салют.

Канцелярии он приказал немедленно отправить для всех воевод и губернаторов сообщение: «Вор Булавин убит, бунт на Дону подавлен». Князю Долгорукому Петр написал собственноручно, что пора возвращаться, «понеже сие дело, слава богу, счастливо окончилось».

Ах, каким ярким был фейерферк! Какой чудной была огненная потеха!

Но через несколько дней царю подали письмо от майора Долгорукого. Петр пробежал глазами по листу, в ярости скомкал его, швырнул:

— Много легче держать баталии со шведами, чем бунты в России усмирять.

— Пошто, государь? — поинтересовался Шереметев.

— Подыми.— Петр кивнул на скомканное письмо.

Фельдмаршал расправил письмо, стал читать: «...И не токмо, государь, что по Дону и по Донцу и по другим рекам, но и в самом Черкасске трети нет, на кого бы можно надеяться, а то все сплошь воры и готовы к бунту всегда,— что час от часу, то бедство от воров прибавляется».

Вскоре майор прислал еще одно письмо: «А на Дону Некрасов собирает великие войска воровские. Боже сохрани от него, ежели соберется не плоше Булавина».

Петр рвал и метал.

Опять булавинцы.

Долгорукий, хотя и принял присягу на верность от черкасских жителей да казнил многих повстанцев, все же понимал: уводить полки с юга нельзя.

На Волге казаки захватили Камышин. Игнат Некрасов взял штурмом Царицын, после чего булавинцы приговорили к смерти царицынского воеводу. Никита Голый бил карателей на Северском Донце. Беднякам он рассылал письма: «Нам дело до бояр и которые неправду делают. А вы, голытьба вся, идите изо всех городов конные и пешие, нагие и босые, идите, не опасайтесь —

будут вам и кони, и ружья, и платье, и денежное жалованье...»

Все же Долгорукий одолел повстанцев. Никита Голый был схвачен. Игнат Некрасов с небольшим отрядом ушел в другие земли. Но песня, сложенная булавинцами, еще долго волновала голытьбу:

А привыкать вам, донским казакам, к бою-подвигу,
Ой да, привыкать вам нападать на царевы полчища,
Да мы царю же не сдадим вольной вольницы,

Ой да, за Булавина отдадим свои буйные головы.
Да не убить-то царю да славный род людской,
Ой да, постоим же за правду грудью-кровью мы.

Шло время. И опять брались донцы за оружие, бились за волю и правду. Даже через двадцать лет после гибели Булавина появлялись на Дону отряды Игната Некрасова, громили воевод и домовитых.

И опять плескалось на ветру разинское знамя. Знать, надежным людям вручил его Иван Лоскут.

Теперь, когда передавали знамя из рук в руки, говорили:

— Береги его. То прапорец Кондратея.

И сокровенное знамя зажигало бунтарские души:

— Мы с вами, булавинцы!



ОГЛАВЛЕНИЕ

Литературно-художественное издание

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тихомиров Олег Николаевич

СТАЛ Я С ВАМИ ЗА ПРАВДУ

Повесть

Ответственный редактор *С. М. Пономарева*
Художественный редактор *В. А. Тогобицкий*
Технический редактор *Н Г Мохова*
Корректоры *К. И. Каревская, Э. Н Сизова*

ИБ № 10946

Сдано в набор 17.02.89. Подписано к печати 31.08 89. А07926. Формат 70×90 /16. Бум. офсетн. № 1. Шрифт академический. Печать офсетная. Усл. печ. л 11,7. Усл. кр-отт 25,08 Уч.-изд. л. 9,17. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2601. Цена 70 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.







70 к.



